



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

P
67

РОМЭН РОЛЛАН
ROMAIN ROLLAND

ШЕР и ЛЮС

ПЕРЕВОД Э. Л. ВЕЙНБАУМ
РЕДАКЦИЯ В. А. АЗОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА. МСМХХІІІ

Главлит. № 5419.
Гиз. № 4108. Отп. 8,250 экз.
= „ПЕЧАТНЫЙ ДВОР“ =
Типогр. Государств. Издат.
Петроград. Гатчинская, 26.

ПЬЕР и ЛЮС
PIERRE ET LUCE
1918

Длительность повествования: от вечера среды
30 января по Великую Пятницу 29 марта 1918 г.

AMORI

Pacis Amor Deus
(Проперций)

I

Пьер бухнул в метро. Животная возбужденная толпа. Стоя у входа, сжатый толпою человеческих тел, он дышал тяжелым воздухом, исходящим из их ртов, и, не видя людей, смотрел на черные, грохочущие своды, по которым скользили сверкающие врачьи поезда. В его мозгу были те же тени, те же отблески, жесткие и трепещущие. Задыхаясь под поднятым воротником своего пальто, с прижатыми к телу руками и стиснутыми зубами, с влажным от пота лбом, вдруг леденевшим, когда открывалась дверь и врывалась струя наружного воздуха, — Пьер старался не видеть, не дышать, не думать, не жить. Сердце этого восемнадцатилетнего юноши, почти еще ребенка, было полно мрачного отчаяния. Над ним, над мраком этих сводов, над этой крысиной норой, в которой скользило металлическое, кишачье человеческими личинками, чудовище, — был Париж, снег, холодная январская ночь, кошмар жизни и смерти — война.

Война. Уже четыре года прошло с начала ее. Тяжело легла она на его юность. Она застигла его в момент нравственного перелома, когда подросток, встревоженный пробуждением чувственности, с трепетом ощущает в себе слепые, животные, сокрушающие силы жизни, добычей которой он является, хотя и не просил дать ему эту жизнь. И если у него деликатная натура, нежное сердце и хрупкое тело, как это было у Пьера, он испытывает отвращение и ужас (о которых не решается сказать никому) ко всей этой грязи, к скотству и бессмысленности рождающей и пожирающей природы — этой рождающей и пожирающей свое потомство свиньи.

Каждый юноша в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — немного Гамлет. Не требуйте от него понимания войны. (Это хорошо для вас, людей установившихся). Будет с него, если он поймет жизнь и простит ее. Обыкновенно он углубляется в мечты, в искусство и так живет, пока не освоится со своим воплощением, пока куколка не закончит мучительного перехода от личинки к полному насекомому. Какая у него потребность в покое и в размышлении в эти тревожные апрельские дни, дни созревающей жизни! Но его находят и там — в уединении; его — покрытого нежной, новой кожей, вытаскивают из тени

на свет, — туда, где такой резкий ветер, где такое грубое человечество, с которым он должен, ничего не понимая, сейчас же слиться, за безумие и ненависть которого, тоже ничего не понимая, он должен принять искупление.

Пьер, в числе всех восемнадцатилетних, был призван на военную службу. Через шесть месяцев отечеству понадобится его шкура. Этого требовала война. Шесть месяцев отсрочки. Шесть месяцев! Если бы, по крайней мере, начиная с сегодня, можно было не думать! Остаться в этом подземельи! Не видать больше жестокого дня!

И он, закрыв глаза, погрузился, вместе с убежавшим поездом, во мрак.

Когда он опять раскрыл глаза, в нескольких шагах от него, отделенная двумя какими-то посторонними людьми, стояла только-что вошедшая молодая девушка. Сначала он разглядел только ее нежный профиль, затененный шляпою, белокурый локон на худенькой щеке, световой блик на милой выпуклости под глазом, тонкую линию носа и приподнятой верхней губки и полураскрытый, еще трепетавший от ускоренной ходьбы, рот. Она целиком проникла в его сердце, проникла чрез раскрытую дверь его глаз — и дверь захлопнулась. Внешний шум исчез. Наступила тишина. Покой. Она была там.

Она не смотрела на него. Она даже не знала еще, существует ли он на свете. И всетаки была в нем. Фантазируя, он сжимал в своих объятиях ее немое изображение и не смел дышать — из боязни коснуться его своим дыханием...

На следующей станции толкотня. Люди ринулись, крича, в переполненный уже вагон. Пьера затолкали, людская волна понесла его. Сверху, из города, доносились глухие отзвуки. Поезд тронулся. В этот миг ошалевший какой-то человек, закрыв лицо руками, спускался с лестницы — и вдруг покатился. Перед глазами публики мелькнула кровь, струившаяся сквозь его пальцы... Снова тоннель и мрак... В вагоне крики ужаса: «Налет готов!..» В общем волнении, слившем воедино все эти сдавленные тела, Пьер схватил руку, коснувшуюся его руки. Когда он открыл глаза, то увидел, что это была Она.

Она не старалась освободиться. Ее взволнованные, слегка сведенные пальцы ответили на его пожатие, а затем, кроткие, горячие, отдались, не шевелясь. Руки их так и оставались под покровом тьмы, как птички в гнезде, прижавшиеся друг к другу, и кровь их, согретая жаром ладоней, струилась общим потоком. Они не обменялись ни словом, не сделали ни единого жеста. Уста его почти касались локона на ее щеке и кончика ее уха.

Она не глядела на него. Через две станции она высвободилась от него — он уже ее не удерживал — скользнула среди тел и ушла. На Пьера она так и не посмотрела.

Когда она исчезла, ему захотелось бежать за нею... Слишком поздно. Поезд катился. На следующей остановке он поднялся наверх. Он был охвачен ночным воздухом, невидимым прикосновением снежинок, и перед ним был испуганный и забавляющийся своим испугом город, высоко над которым парили птицы войны. Но он ничего не видел, кроме нее, охватившей все его существо; и он пришел домой, держа в своей руке руку незнакомки.

II

Пьер Обье жил у своих родителей, недалеко от сквера Клюни. Отец был судья; брат, который был на шесть лет старше, с самого начала войны поступил на военную службу. Семья была буржуазная, чисто-французская, все добрые, гуманные люди, не смевшие никогда самостоятельно мыслить и, вероятно, даже не предполагавшие, чтобы это было возможно. Президент Обье, глубоко честный, высоко ставил идею своего долга, и с негодованием, как грубое оскорбление, отверг бы даже подозрение в том, что его приговоры могут быть продиктованы какими бы то ни было иными соображениями, кроме справедливости и голоса его совести. Но совесть его никогда ничего не говорила (скажем точнее: никогда не шептала) против правительства. Она родилась чиновником. Она мыслила в пользу государства, изменяющегося, но непогрешимого. Власти предержащие были священны для г. Обье. Он искренно преклонялся перед свободными и непреклонными душами великих судей

прошлого и, может быть, втайне считал себя принадлежащим к их племени. Это был малюсенький Мишель де л'Опиталь, над которым пронеслось столетие республиканского рабства. Что касается госпожи Обье, то насколько ее муж был добрым республиканцем, настолько же она была ревностной христианкою. Так же искренно и честно, как он становился послушным орудием власти против всякой свободы, не имеющей официального паспорта, она в чистоте сердца сливала свои молитвы с убийственными пожеланиями, которые специально для войны слагали во всех странах Европы католические священники, протестантские пасторы, равнины и попы, газетные листки и все вообще благомыслящие люди того времени. Оба, отец и мать, обожали своих детей; как истые французы, они только их любили глубокой любовью, всем пожертвовали бы для них и, чтобы поступить, как все, не колеблясь, принесли их в жертву. Кому? Неизвестному божеству. Во все времена Авраам вел Исаака на костер. Его великое безумие и сейчас еще служит примером для бедного человечества.

Как часто случается, в этом семейном очаге было много любви и мало интимности. Нельзя же свободно обмениваться мнениями, раз избегаешь заглянуть в собственную душу до дна. Что бы человек ни чув-

ствовал, он знает, что нужно соблюдать известные догматы; и если стеснительны уже скромные догматы, не выходящие из своих определенных границ (каковы в общем все догматы, относящиеся к потустороннему миру), то что сказать о догматах, желающих вмешиваться в жизнь, всецело управлять ею, — о чем трактуют все светские и обязательные догматы! Попробуйте, забудьте-ка догмат об Отечестве! Новая религия заставляла отступить к Ветхому Завету. Она не довольствовалась словесным благочестием и невинными предписаниями, гигиеническими и смешными, — как причастие, пост в пятницу, воскресный отдых, против которых ерепенились наши «философы» в те времена, когда народ был свободен при королях. Новая религия требовала всего, меньшим она не удовлетворялась: она требовала человека целиком, его тело, его кровь, жизнь и мысль. В особенности, его кровь. Никогда со времени мексиканских ацтеков божество так не упивалось кровью. Было бы глубоко несправедливо, если бы мы сказали, что верующие не страдали. Они страдали, но верили. О, бедные люди, мои братья, для которых даже страдание является доказательством божественности!.. Г. и г-жа Обье страдали, как другие, и, как другие, поклонялись божеству. Но нельзя требовать от юноши такого отречения от сердца, чувств и здра-

вого смысла. Пьер желал понять, по крайней мере, то, что давило его. Сколько было жгучих вопросов, о которых он не смел сказать ни слова! Потому что каждый из них начинался: «а если я в это не верю!..» Уже кощунство!.. Нет, он не мог заговорить. Они посмотрели бы на него с ужасом, с негодованием, с горем, со стыдом. И так как он находился в том пластическом возрасте, когда слишком нежная оболочка души съезживается от малейшего наружного ветерка и трепетно формируется под воздействием этих невидимых прикосновений, то он сам заранее чувствовал печаль и стыд. Ах, как все они верили! (Но неужели так-таки все?). Как это они делали? Невозможно спросить! Если ты один среди верующих не веришь, ты похож на человека, у которого не хватает какого-нибудь органа; он, может быть, и лишний, но у всех других он имеется, и ты, краснея, прячешь от чужих глаз наготу свою.

Единственно, кто мог бы понять томление молодого человека — это его старший брат. Пьер обожал Филиппа, как часто маленькие обожают (тщательно скрывая это) старшего брата или сестру, этого странного товарища, временами исчезающее мимолетное видение, воплощающее в их глазах мечту, идеал того, чем они хотели бы быть, и того, что они хотели бы любить. Старший брат

заметил это наивное поклонение, и оно польстило ему. Сначала он старался читать в душе своего брата и осторожно объяснять ему его душу; он был хотя и крепче Пьера, но всетаки из того же нежного материала, который в лучших мужчинах сохраняет кое-что женственное, чего они не стыдятся. Но пришла война и оторвала его от трудовой жизни, от научных занятий, от юношеских грез и от дружбы с младшим братом. Он все бросил. Увлеченный идеализмом новичка, он, как большая, безумная птица, устремился в пространство с героической и бессмысленной иллюзией, что ее клюв и когти прекратят войну и восстановят на земле царство мира. С тех пор птица раза два-три возвращалась в гнездо и каждый раз, увы! несколько пощипанная.

Он избавился от многих иллюзий, но был этим так убит, что не мог говорить об этом. Ему было стыдно, что он некогда этому верил. Как глупо не видеть жизнь такой, как она есть! Теперь он с азартом развенчивал ее и принимал ее стоически, какова бы она ни была. Он не только себя казнил; злое страдание заставляло его казнить эти свои заблуждения и в сердце младшего брата, где он их снова нашел. Когда он в первый раз вернулся домой, и Пьер прибежал к нему, полный любви и жара созревающей своей души, старший

брат обдал его холодным душем. Он, конечно, встретил его любовью, но в тоне была резкая ирония. Вопросы, столпившиеся у Пьера на устах, были отброшены. Филипп видел их еще издали — и уничтожал их одним словом, одним взглядом. После двух или трех попыток, Пьер сжался: он не узнавал своего брата.

Тот же, напротив, слишком хорошо узнавал Пьера. Он узнавал в нем то, чем сам он недавно был и чем теперь не мог уже быть. И он заставлял Пьера платить за это. Потом он сожалел об этом, но виду не показывал и каждый раз начинал с начала. Оба страдали, и в силу недоразумения, так часто встречающегося, страдание, которое должно было бы соединить их, еще больше их разъединяло. Единственная разница между ними состояла в том, что старший знал о близости страдания, а Пьер считал, что он один страдает и что ему некому открыться.

Почему же он не обратился к своим сверстникам, товарищам по школе? Казалось бы, что юноши эти должны бы сблизиться и служить друг другу поддержкою. Но не было ничего подобного. Печальный рок, напротив, разъединил их, рассеял в маленькие группы, и даже в этих маленьких группах они оставались сдержанными и далекими друг другу. Пошляки, закрыв глаза, с головою

окунулись в воинственный поток. Большинство отошло в сторону, не чувствуя никакой связи с предшествовавшим поколением; они ни в чем не разделяли страстей, надежд и ненависти своих предшественников; при них разыгрывалась бешеная вакханалия, и они смотрели на нее, как трезвые глядят на пьяных. Но что они могли сделать против этого? Многие из них основали маленькие журнальчики, эфемерная жизнь которых прекращалась после первых же номеров, так как им не хватало воздуха; цензура опустошала их: мысль всей Франции находилась под колоколом пневматической машины. Самые выдающиеся из этих молодых людей, слишком слабые, чтобы восстать, и слишком гордые, чтобы жаловаться, заранее знали, что они обречены ножу войны. В ожидании своей очереди идти на бойню они, молча, каждый про себя, произносили приговор, в котором была некоторая доля презрения и очень много иронии. В противовес умственной жизни человеческого стада, они усвоили себе особого рода интеллектуальный и артистический эгоизм, идеалистический сенсуализм, где преследуемое «я» требовало восстановления своих прав, подавленных объединением людей. Нелепое объединение, явившееся этим юношам только в виде объединения в побоищах: или они — все вместе били, или их —

всех вместе били. Скороспелая опытность развеяла их иллюзии; они видели, чего стоили эти иллюзии их старших братьев, и они, уже не веря, всетаки должны были платить своей жизнью. У них было подорвано доверие даже к их сверстникам, к человеку вообще. Впрочем, и действительно трудно было доверять в это время! Каждый день узнавали о том, что какой-нибудь шпион-патриот опять сделал донос относительно чьего-нибудь образа мыслей, о содержании какой-нибудь интимной беседы; правительство поддерживало рвение этих господ. Таким образом, молодые люди мало изливались друг перед другом из чувства уныния, презрения, осторожности и стоического своего одиночества.

Пьер не находил среди них Горацио, которого ищут восемнадцатилетние Гамлетики. Если он боялся отдать свои мысли общественному мнению (этой публичной женщине), у него всетаки была потребность свободно общаться с душами, им избранными. Он был слишком нежен, чтобы довольствоваться самим собою, он страдал общим страданием. Он преувеличивал его, и оно его давило. Если человечество, несмотря на все, выносит это страдание, так это потому, что у него более грубая шкура, чем у хрупкого юноши. Но вот что он не преувеличивал и что его угнетало еще больше, чем страдания мира: это — человеческая глупость.

Не страшны страдания, не страшна смерть, если видишь в этом смысл. Жертва хороша, если понимаешь, чему она приносится. Но в чем для юноши смысл мира и раздирающих его междоусобиц? Если он искренен и не извращен, что может его заинтересовать в грубой схватке напавших друг на друга народов, сцепившихся, как глупые бараны над бездною, в которую все они скатятся? А ведь дорога достаточно широка для всех. Зачем же это бешенство, с которым они сами себя уничтожают? Зачем же эти исполненные гордости отечества, эти грабительские государства, эти народы, которых обучают убийству, как долгу? И зачем это взаимное убийство? Зачем все на свете вцепились друг другу в горло? Зачем кошмар этой чудовищной бесконечной цепи жизни, каждое звено которой вонзает свои зубы в ватолок другого, насыщается его мясом, упивается его страданиями и живет его смертью? Зачем эта борьба и горе? Зачем смерть? Зачем жизнь? Зачем? Зачем?

В этот вечер, когда мальчик вернулся домой, все его «зачем» молчали.

III

А между тем ничто не изменилось. Он очутился в своей комнате, окруженный бумагами и книгами. Кругом все домашние звуки. На улице горнист заканчивал призыв к тревоге. С лестницы доносилась болтовня жильцов; а этажом выше слышались шаги их соседа, старого маньяка, целые месяцы дожидавшегося возвращения своего исчезнувшего сына. Но в самой комнате Пьера не было забот, которые, уходя, он оставил в ней.

Случается иногда, что резко прозвучит неполный аккорд; неприятное впечатление исчезает только тогда, когда прибавится нота, сливающаяся в общую гармонию элементы, враждебные или холодные друг к другу—как незнакомые посетители, ожидающие, чтобы их познакомили. Тогда лед ломается, и гармония течет, переливаясь из одного органа в другой. Эту нравственную химическую реакцию произвело беглое и теплое соприкосновение. Пьер не сознавал причины происшед-

шей в нем перемены; он и не думал анализировать ее. Но он чувствовал, что обычная враждебность вещей внезапно притупилась. У вас в течение нескольких часов сильно болела голова. Вдруг вы чувствуете, что боль эта прошла; каким образом она исчезла? У вас осталась только в виде воспоминания легкая боль в висках... Пьер недоверчиво смотрел на наступивший покой. Он предполагал, что после временной передышки придут еще большие страдания. Ему уже были знакомы передышки, доставляемые искусством. Наш глаз схватывает божественную пропорцию линий и красок, или в ушной раковине у нас звучит прекрасная игра разнообразных аккордов, то рассыпающихся, то переплетающихся по законам гармонических чисел, — и тотчас в душу проникает мир, и радость наполняет ее. Но это — сияние, приходящее извне, словно из солнца, далекий огонь которого удерживает нас, так сказать, на весу, над нашей жизнью. Это продолжается некоторое время, и затем мы опять падаем наземь. Искусство — только временное забвение реального. И робкий Пьер ожидал того же обмана. Но на этот раз сияние пришло изнутри. Ничто не было забыто. Но все сливалось в гармонию. Воспоминания новые мысли, даже предметы, бумаги, книги в комнате одухотворились и опять стали интересны.

Уже несколько месяцев прошло, как умственный рост его остановился, подобно росту молодого деревца, охваченного в полном цвету морозом. Он не принадлежал к тем практическим мальчикам, которые пользовались льготами, предоставленными молодым людям призывного возраста, чтобы быстро схватить диплом под снисходительным взором экзаминаторов. Не испытывал он также и отчаянной жадности молодого человека, который, в виду близкой смерти, удвоенными глотками пожирает сведения, которые ему никогда в жизни не удастся проверить на опыте. Бесперывное чувство пустоты — там в конце, под ним, всюду, спрятанной под жестокой и бессмысленной иллюзией мира, — это обрывало крылья у всех его порывов. Он брался за книгу, увлекался какой-нибудь идеей и, вдруг обескураженный, останавливался. К чему это? Зачем учиться? Зачем обогащаться, если придется все покинуть, все бросить, если ничего не принадлежит вам? Науки и деятельность только тогда имеют смысл, если жизнь его имеет. А никакое усилие мысли, никакие сердечные мольбы не могли добиться этого смысла. И вдруг он сам собою явился... Жизнь получила смысл...

Но почему же? И, размышляя над тем, откуда взялась эта улыбка изнутри, он увидел полураскрытые губы, к которым жаждали прильнуть его губы.

IV

В обычное время это немое очарование, конечно, не продолжалось бы. В юности, когда бываешь влюблен в любовь, видишь ее во всех глазах; жадное и неуверенное сердце добывает ее из всех глаз; и ничто не заставляет юное сердце остановиться на чем-нибудь определенно: его день только начинается.

Но нынешний день будет короток: надо торопиться.

Сердце юноши торопилось тем более, что оно запоздало. Большие города, которые издали кажутся дымящимися очагами чувственности, скрывают в своих недрах свежие души и девственные тела. Сколько там молодых людей и девушек, относящихся с уважением к любви и сохраняющих девственность своих чувств до самого брака! Даже в утонченной среде, где преждевременно возбуждено мозговое любопытство, какое странное невежество скрывается под свободными речами моло-

дой светской барышни или студента, который все знает и в то же время ничего не знает? В самом сердце Парижа вы найдете наивные провинции, монастырские сады, источники чистоты. Литература Парижа предаёт Париж. От его имени говорят наиболее загрязненные. И мы отлично знаем, что часто ложное уважение к людям не позволяет чистым сознаться в своей чистоте. Пьер еще не знал любви, и он отдался ее первому призыву.

К очарованию, испытанному Пьером, присоединилось еще то обстоятельство, что его любовь родилась под крылом смерти. В минуту волнения, когда они чувствовали над головами своими угрозу бомб, когда кровавое зрелище изувеченного человека сжало их сердца, пальцы их искали друг друга, и оба прочли в них одновременно со страхом, испытываемым плотью, утешение в том, что найден незнакомый друг. Беглое прикосновение! Рука мужчины сказала: «Обопрись на меня!» А другая, материнская рука, отогнала свой собственный страх и сказала: «Маленький мой!»

Ничего этого не было ни сказано, ни выслушано. Но внутренний шепот этот наполнял душу гораздо явственнее, чем слова—эта завеса из листьев, маскирующая мысли. Жужжание это укачало Пьера—как пение золотистой осы, кружащейся

где-то в полутьме его существа. Он оцепенел в новой тоске. Одинокое и обнаженное сердце стало мечтать о теплоте гнездышка.

В первые недели февраля Париж считал свои развалины—результат последнего налета—и зализывал свои раны. Пресса, запертая в собачью конуру, лаяла на репрессалии и, по словам «*L'Homme qui enchaînait*», власть вела войну с французами. Открылся сезон процессов об измене. Весь Париж развлекался этим зрелищем: несчастный защищал свою голову, которую яростно требовал прокурор. Страсть парижской толпы к театру не была насыщена четырьмя годами войны и десятию миллионами покойников, павших за кулисами.

Но юноша наш был поглощен исключительно посетившим его таинственным гостем. Непокорная интенсивность любовных видений, запечатленных в глубине души и всетаки лишенных облика! Пьер не мог бы сказать, каковы были черты ее лица, или цвет ее глаз, или очерк ее губ. Он находил только ощущение этого в самом себе. Все попытки точно определить ее облик обезображивали его.

Не больший успех имел он, когда начал искать ее на улицах Парижа. Каждую минуту ему казалось, что он видит ее. То была улыбка, или чья-то юная шея, или блеск глаз. И кровь

прилиwała у него к сердцу. Не было ни малейшего сходства между этими мимолетными видениями и действительным образом той, которую он разыскивал и, как ему казалось, любил. Но любил ли он? Конечно, любил; вот почему он ее видел всюду и во всех видах. Ведь, она была вся улыбка, вся свет, вся жизнь. А знать точный облик ее—значило бы уже ограничить ее. Но хочется этого ограничения, чтобы обнять любовь, обладать ею.

Если он даже никогда больше не увидит ее, он знает, что она была и что в ней—гнездо. Во время урагана она была гаванью, маяком во время ночи. *Stella Maris, Amor, Любовь, бодрствуй над нами в смертный час!*

V

Однажды Пьер проходил вдоль Института по набережной Сены, рассеянно разглядывая выставку одного из немногих букинистов, оставшихся на своем посту. Он находился на нижних ступеньках моста Искусств. Подняв вверх глаза, он увидел ту, которую ждал. Как козочка, спускалась она по ступеням с картоном для рисования под мышкой. Не размышляя, кинулся он ей навстречу, и, пока он подымался к ней, спускавшейся вниз, глаза их впервые остановились друг на друге и проникли друг в друга. Поднявшись к ней, он остановился и покраснел. Удивленная тем, что он зарумянился, и она зарумянилась. Прежде чем он успел перевести дыхание, шаги козочки прошли мимо него. Когда к нему возвратились силы и он мог повернуться, ее платье исчезало за аркадой, выходящей на улицу Сены. Он и не пытался следовать за нею. Опершись о перила

моста, он видел в реке отражение своего взгляда. На некоторое время сердце его имело уже новую пищу. (О, дорогие, глупые мальчики!)...

Неделю спустя Пьер бродил по Люксембургскому саду, который солнце заливало своим кротким, золотистым светом. Какой сияющий февраль был в этот мрачный год! Мечтая с открытыми глазами и не зная, грезится ли ему то, что он видит, или он видит то, что ему грезится, в жадном томлении, неясно счастливый, несчастный влюбленный, напоенный нежностью и солнцем, он улыбался на ходу, и губы его бессознательно шевелились, произнося бессмысленные слова, напевая песенку. Он разглядывал песок. Вдруг его коснулся как бы летящий голубь, ему показалось, что мимо него мелькнула улыбка. Он обернулся и увидел, что она только что прошла мимо. И в ту же минуту она, не останавливаясь, улыбаясь, повернула голову и посмотрела на него. Тогда он, не колеблясь более, подошел к ней с почти протянутыми руками, с таким юношеским и наивным порывом, что и она наивно остановилась, поджидая его. Он совсем не извинился. Они нисколько не стеснялись. Им казалось, словно они продолжают начатый разговор.

— Вы смеетесь надо мной, — сказал он, — и вы совершенно правы.

— Я не смеюсь. (Голос ее, как и походка, был живой и гибкий). — Вы сами смеетесь; и я засмеялась — увидев вас.

— Разве я смеялся? Серьезно?

— Вы и сейчас еще смеетесь.

— Сейчас я знаю, почему смеюсь.

Она не спросила его, почему. Они пошли вместе и были счастливы.

— Милое солнышко! — сказала она.

— Это новорожденная весна!

— Вы сейчас ей улыбались?

— Не ей одной. Может быть, и вам?

— Вот лгунишка! Скверный! Вы, ведь, меня не знаете?

— Этого нельзя сказать. Мы виделись уже — не знаю, сколько раз!

— Три раза, считая сегодняшний.

— А! Вы помните!.. Видите, мы уже старые знакомые!

— Поговорим об этом!

— С удовольствием. Это все, чего я желаю... Давайте сядем! На минуточку, хотите? Тут так хорошо у воды!

(Они были у фонтана Галатеи; каменщики, чтобы предохранить его от бомб, покрывали его чехлом).

— Я не могу. Я пропущу трамвай...

Она спросила, который час, и Пьер доказал ей, что в ее распоряжении еще двадцать пять минут.

Да, но ей раньше пужно купить себе завтрак на углу улицы Расина; там такие отличные хлебцы. Он вытащил такой хлебец из своего кармана.

— Не лучше вот этого? Не хотите ли?

Она засмеялась, но все еще раздумывала. Он вложил ей хлебец в руку и задержал ее пальцы.

— Вы мне доставите такое удовольствие!.. Давайте сядем... — Он повел ее к скамейке, стоявшей посреди аллеи, окружавшей бассейн.

— У меня есть еще кое-что...

И он вытащил из кармана таблетку шоколада.

— Вот лакомка!.. А что у вас еще есть?

— Только мне стыдно... он не в обертке...

— Давайте, давайте!.. Теперь война.

Он смотрел, как она ела шоколад.

— В первый раз, — сказал он, — я вижу, что и война имеет хорошую сторону.

— О, не будем говорить о ней! Это слишком ужасно!

— Хорошо, — с жаром подхватил он, — никогда не будем говорить о ней. (Воздух внезапно стал как бы легче).

— Посмотрите на этих воробышков, как они кулаются.



(Она указала на воробьев, плескавшихся в бассейне).

— Ну, а тогда, вечером (он следовал течению своей мысли), тогда, в метро, скажите, вы видели меня?

— Ну, конечно.

— Но вы ни разу не взглянули на меня... Все время вы глядели, отвернувшись в другую сторону!.. Вот, как сейчас...

(Он видел ее в профиль; она грызла его хлеб и смотрела прямо перед собой хитрыми своими глазками).

— Да, посмотрите же на меня!.. Что вы там разглядываете?

Она не повернула головы. Он взял ее за правую руку, на которой из разорванной перчатки торчал кончик указательного пальца.

— Что вы там видите?

— Вас, который разглядывает мою перчатку... Вы хотите еще больше разорвать ее?

(В рассеянности он увеличивал дырку).

— Простите!.. Но как вы можете видеть?

Она не ответила; но он видел на насмешливом профиле уголок смеющегося глаза.

— Вот хитрая!

— Но это очень просто. Все так делают.

— Я не мог бы.

— Попробуйте!.. Ну, глядите вкось.

— Никогда я не сумею. Мне, чтобы видеть, надо смотреть прямо.

— Ну, да не так глупо!

— Наконец! Теперь я вижу ваши глаза.

И они, нежно посмеиваясь, смотрели друг на друга.

— Как вас зовут?

— Люс.

— Красивое имя. Красивое, как сегодняшний день!

— А вас как зовут?

— Пьер... Обыкновенное имя.

— Хорошее имя: у него честные, ясные глаза.

— Как мои.

— Ясные, пожалуй.

— Потому что они смотрят на Люс.

— Люс! Надо сказать, «Мадемуазель».

— Нет.

— Нет?

(Он покачал головою).

— Вы не «Мадемуазель». Вы—Люс, а я—Пьер.

Они держали друг друга за руки. И не глядя один на другого, устремив взоры в нежное, голубое небо, видневшееся сквозь обнаженные ветви деревьев, они замолчали. Мысли их смешались — потому что сплелись их пальцы.

Она сказала:

— Тогда, вечером, мы оба боялись.

— Да, — сказал он, — это было хорошо.

(И тут оба они улыбнулись, так как каждый из них высказал мысль другого).

Вдруг она услышала бой часов, вырвала свою руку и поднялась с места.

— О, у меня больше нет времени...

Они пошли вместе деловой походкой; эта деловая походка так красива у парижанки: она не кажется сразу быстрой, — такой легкой она кажется.

— Вы часто проходите здесь?

— Ежедневно. Но чаще я иду по другой стороне террасы. (Она указала на сад, на деревья Ватго). Я возвращаюсь из музея.

(Он взглянул на папку, которую она несла).

— Вы художница? — спросил он.

— Нет, — ответила она. — Это слишком громкое слово. Я просто маленькая пачкунья.

— Зачем же вы делаете это? Для удовольствия?

— О, нет! Для денег.

— Для денег!

— Это нехорошо, неправда ли? Заниматься искусством ради денег?

— Удивительно, как это можно зарабатывать деньги, если не умеешь рисовать!

— Вот именно поэтому. Я вам объясню это в другой раз.

— В другой раз, — мы еще раз позавтракаем у фонтана?

— Посмотрим. Если будет хорошая погода.

— Но вы придете? Не правда ли?.. Да скажите же.. Люс...

(Они уже были на станции. Она вскочила на подножку трамвая).

— Да ответьте же, солнышко!

Она не отвечала. Но когда трамвай тронулся, она ресницами ответила: «да», а на губах у нее он прочел, хотя она этого и не сказала:

— Да, Пьер.

Оба дорогой думали:

— Какие довольные лица у всех сегодня.

И они улыбались, не желая даже дать себе отчет в том, что случилось. Они знали только, что они *это* имели, держали *это*, и что *оно* было их. Что? Ничего! Они были богаты сегодня вечером. Вернувшись, каждый из них любовными глазами, как на друга, посмотрел на себя в зеркало. Они говорили себе: «Его (ее) взгляд покоился на тебе». Рано улеглись они, усталые (почему?) восхитительной усталостью. Раздеваясь, они думали:

— Как хорошо, что есть завтра!

VI

Завтра!.. Потомки наши с трудом представят себе, сколько немного отчаяния и безграничной тоски вызывало это слово в четвертый год войны!.. Такая усталость! Столько раз разбитые надежды!.. Сотни «завтра», похожих на вчера и на сегодня, сменяли друг друга, и все они были одинаково посвящены ничему и ожиданию, тщетному ожиданию. Время остановилось. Год был, как Стикс, окружавший жизнь кольцом своей черной, жирной, мрачно сверкающей воды, которая не текла. Завтра? Завтра умерло.

Но в сердцах двух детей Завтра воскресло.

Завтра они опять сидели у фонтана. И эти завтра следовали друг за другом. Прекрасная погода благоприятствовала этим кратким встречам, становившимся с каждым днем менее краткими. Каждый приносил с собою завтрак, чтобы иметь удовольствие обменять его. Теперь Пьер ожидал у дверей музея. Он хотел видеть ее рисунки.

Она хотя и не гордилась ими, но не заставляла себя долго упрашивать. Это были копии в миниа-юре с знаменитых картин или фрагментов картин: какая-нибудь группа, фигура, бюст. На первый взгляд работы эти казались не особенно неприятными, но очень уж небрежно сделанными. Попадались и правильные, красивые штрихи, но рядом с ними ученические ошибки, показывавшие не только ее полнейшую, так сказать, безграмотность, но и развязность; ей как будто было все равно, что подумают. «Баста!.. Достаточно!..» Люс называла воспроизведенные ею картины. Пьер их отлично знал. Он даже в лице переменялся от огорчения. Люс чувствовала, что он недоволен; но она брави-ровала, показывая ему все... вот еще... Вот: наиболее ужасный рисунок. На лице ее оставалась насмешливая улыбка, относившаяся одинаково и к ней самой, и к Пьеру; но она не сознавалась себе в том, что испытывала досаду. Пьер сжал губы, чтобы не говорить. Но, в конце концов, он не выдержал. Она показала ему копию картины Рафаэля, пахотейшей во Флоренции.

— Но, ведь, это совсем не те краски! — сказал он.

— О, было бы удивительно, если бы было наоборот. Я, ведь, там не была и не видела. Я делала с фотографии.

— И вам ничего не говорят?

— Кто? Покупатели? Они там тоже не были...

И потом, если бы даже они там и были, они так близко не разглядывают! Красное, зеленое, голубое, — они видят только огонь. Иногда у меня бывает оригинал в красках, а я меняю их... Вот, например, вот это... (Ангел Мурильо).

— Вы находите, что так лучше?

— Нет, но меня это забавляло... И потом — так удобнее... А кроме того, мне все равно. Самое важное, что это продается!

И сболтнув это, она приостановилась, отняла у него свои рисунки и расхохоталась.

— Ну, что! Оказалось хуже, чем вы себе воображали?

Он, огорченный, сказал:

— Зачем же вы занимаетесь подобными вещами?

Она посмотрела на его расстроенное лицо с доброй улыбкой материнской иронии. Ах, этот милый маленький буржуа, которому все так легко давалось; он даже не понимает, что надо делать уступки, чтобы...

Он опять спросил:

— Зачем? Скажите, зачем?

(Он был совсем сконфужен, словно он сам был таким пачкуном! Добрый мальчик! Ей хотелось поцеловать его... О, скромно — в лоб).

И она кротко ответила:

— Затем, чтобы жить.

Он был этим страшно взволнован. Об этом он не подумал.

— Жизнь сложна, — начала она легкомысленным и насмешливым тоном. — Прежде всего, надо есть, и при том ежедневно. Вечером пообедать, а завтра надо опять начинать. И надо одеваться. Надо одеть все: тело, голову, руки, ноги. Вот сколько одежды! И затем — надо за все платить. Жить — значит платить.

В первый раз заметил он то, чего до сих пор, по близорукости любви своей, не замечал: скромный, местами вылезший мех, слегка поношенные ботинки, следы бедности, которую заставляет забывать врожденное изящество парижанки. И сердце его сжалось.

— Ах! Я не мог бы.... Не мог бы... Помогать вам?

Она покраснела и отступила:

— Нет, нет, — смущенно сказала она. — Об этом и речи быть не может... Никогда... Я не нуждаюсь.

— А я был бы так счастлив!

— Нет... Об этом больше и говорить не будем. Или мы перестанем быть друзьями.

— Значит, мы друзья?

— Да. Если вы, конечно, остались моим другом, увидев все эти ужасы.

— Ну, конечно. Вы не виноваты.

— Но вас это огорчает?

— О, да.

Она рассмеялась, довольная.

— Вам это смешно, злая!

— Нет, это не со зла. Вы не понимаете.

— Почему же вы смеетесь?

— Не скажу.

(Она подумала: «Как ты мила, любовь: ты огорчилась, когда я сделала что-то безобразное»).

И сказала:

— Как вы добры. Мерси.

(Он смотрел на нее удивленными глазами).

— Не старайтесь понять, — сказала она, тихонько хлопая его по руке. — Поговорим о чем-нибудь другом...

— Хорошо... Но еще одно словечко... Я хотел бы все знать... Скажите, пожалуйста... Только не обижайтесь!... Как вы сейчас... Не нуждается?

— Да, нет же, я, ведь, только что вам сказала. Были, конечно, и плохие минуты... Но теперь лучше. Мама получила место; ей хорошо платят.

— Мама ваша работает?

— Да. Она служит на фабрике военных снаряжений. Она получает там двенадцать франков в день. Это целое состояние.

— На фабрике! На военной фабрике!

— Да.

— Но это ужасно!

— Что же делать! Берешь то, что предлагают!

— Люс, ну, а если бы вам... Вам предложили?

— Мне? Но ведь вы же видите, — я пачкаю бумагу... Видите теперь, что я права, когда занимаюсь этой пачкотней!

— Ну, а если бы нужно было зарабатывать деньги и не представлялось бы ничего другого, как только работа на фабрике, изготовляющей снаряды, — пошли бы вы?

— Если бы нужно было зарабатывать и не представлялось бы ничего другого?... Ну, конечно, пошла бы!.. Даже бы побежала!..

— Люс! А думаете ли вы о том, что там делают?

— Нет, я не думаю об этом.

— Там готовят все, что доставляет страдания, смерть, что разрывает, жжет, мучает людей, таких же, как мы с вами...

Она приложила палец к губам, чтобы он замолчал.

— Я знаю, я знаю все, но не хочу об этом думать.

— Вы не хотите об этом думать?

— Нет, — сказала она.

И прибавила после минуты молчания:

— Надо жить... Когда думаешь, не живешь...

А я хочу жить, хочу жить. И если для того, чтобы жить, меня заставляют делать то одно, то другое, неужели же я буду мучиться из-за этого? Это не мое дело, это не моя инициатива. Если это плохо, я не виновата. Я ничего плохого не желаю.

— Чего же вы хотите?

— Прежде всего я хочу жить.

— Вы любите жизнь?

— Ну, конечно. Разве это не хорошо?

— О, нет! Прекрасно, что вы живете!

— А разве вы не любите жизнь?

— Я ее не любил до тех пор, пока...

— Пока?

(Вопрос не требовал ответа. Они оба хорошо знали его).

Пьер продолжал свою мысль.

— Вы сказали: прежде всего... Прежде всего я хочу жить. А что потом? Чего еще хотите вы?

— Не знаю.

— Нет, вы знаете.

— Вы очень настойчивы.

— Да, очень.

— Мне стыдно сказать вам.

— Скажите мне на ухо. Никто не услышит.

Она улыбнулась:

— Я хотела бы... (она зашлась). Я хотела бы *немножко* счастья...

(Они сидели близко друг к другу).

Она продолжала:

— Разве это значит хотеть слишком много?...

Мне часто говорили, что это эгоистично; я себя иногда спрашивала: на что же мы имеем право? Когда видишь вокруг себя столько горя, столько бедности, то не смеешь требовать... Но несмелость на все, сердце мое требует и кричит: Да, я имею право, имею право на *немножко*, *немножко* счастья... Скажите мне совершенно откровенно: разве это эгоистично? Вы находите, что это дурно?

Бесконечная жалость овладела им. Этот крик сердца, этот наивный вопль взволновал его до глубины души. Слезы навернулись у него на глаза. Они сидели рядом на скамейке, опираясь друг о дружку, и каждый из них чувствовал теплоту ног другого. Он хотел повернуться к ней, заключить ее в свои объятия, но не смел пошевелиться из боязни, что не справится с своим волнением. Недвижимые, смотрели они перед собою

на свои ноги. И он заговорил горячо и глухо, быстро, почти не шевеля губами:

— О, дорогая моя! Сердце мое! Я бы хотел держать ваши ножки в своих руках, у моих губ, я бы хотел всю вас съесть...

Не шевельсь, очень быстро и очень тихо, как и он, Люс, сильно взволнованная, ответила:

— Сумасшедший! Замолчите!.. Сумасшедший... Умоляю вас...

Мимо них, медленно прошел какой-то пожилой господин. Они чувствовали, что тела их растопились от нежности.

В аллее никого не было видно. Взырошенный воробей копошился в песке. Фонтан ронял свои светлые капельки. Робко повернулись они лицом друг к другу, и едва только взгляды их встретились, как губы их порывисто, будто птицы, боязливо и быстро коснулись друг друга и разлетелись. Люс поднялась и ушла. Он тоже поднялся. Она ему сказала:

— Оставайтесь.

Они не решились взглянуть друг на друга. Он пробормотал:

— Люс... скажите... эта капелька... это немножко счастья... оно есть?

VII

Погода заставила их прекратить завтраки у «фонтана воробьев». Туман окутывал февральское солнце. Но он не мог угасить солнца, сиявшего в их сердцах. Ах, могла быть какая угодно погода: могло быть холодно, жарко, дождь, ветер, снег, солнце! Всегда было хорошо. И даже было лучше. Ведь, когда счастье растет, самый лучший день всегда бывает сегодня.

Туман служил им предлогом, чтобы часть дня не разлучаться. Было меньше риска, что их заметят. По утрам он ожидал ее у трамвая и сопровождал ее пока она бегала по Парижу. У него был поднят воротник пальто. На ней была меховая шапочка, боа, в которое она зябко куталась до подбородка, и крепко стянутая вуаль, на которой ее пухлые губки выделялись кружком. Но лучшей вуалью служила влажная сетка тумана-благотели. Эта сетка была как из пепла: густая, серая, с желтыми фосфоресцирующими отсветами. На рассто-

нии десяти шагов ничего не видно было. Туман сгустился по мере того, как они спускались в старые перпендикулярные Сене улицы. Они были как ядро в оболочке плода, как скрытое пламя потаенного фонаря. Пьер держал в своей руке левую руку Люс, и они шли ровным шагом, почти одного роста, она немного выше, щебеча вполголоса, близко склонившись друг к другу лицами: ему хотелось расцеловать маленький влажный кружок на ее вуали.

Она посила своим заказчикам—торговцам фальшивой стариной, свои «брюквы», как она называла свои картинки. Они никогда не торопились и нечаянно (так они уверяли, по крайней мере) шли более дальней дорогой, сваливая вину на туман. Тем не менее, в конце концов, цель бывала достигнута, несмотря на все старания избежать ее. Пьер оставался на некотором расстоянии. Она входила в лавку. Он ожидал на углу улицы. Ожидал долго, не смущаясь тем, что тут, на улице, было не очень-то тепло. Но он был доволен тем, что ожидает, тем, что ему не тепло, и даже тем, что скучает, так как все это было для нее. Наконец, она выходила из лавки и, улыбающаяся, расстроенная, с беспокойством расспрашивая, не озяб ли он, подбегала к нему. По ее глазам он узнавал, удалось ли ей продать, и радовался этому так,

как если бы он сам заработал деньги. Но чаще всего она возвращалась с пустыми руками; надо было приходить два-три дня подряд,—и только тогда расплачивались. Бывало хуже: бывало, что ей грубо возвращали заказ! Сегодня, например, ей устроили сцену из-за миниатюры; эту миниатюру она нарисовала с фотографии умершего, которого никогда в жизни не видала. Родные возмущались, почему она не угадала точно цвета глаз и волос. Надо было сделать снова. Так как она смотрела на свои неудачи скорее с комической точки зрения, она только храбро смеялась. Но Пьер не смеялся. Он был взбешен.

— Кретины! Трижды кретины!

Когда Люс показывала ему фотографии, которые она должна была воспроизвести в красках, он закипал презрением (ах, как ее забавляла эта комическая ярость!) к этим дурацким головам, застывшим в торжественных улыбках. Дорогие глазки Люс, ее милые ручки должны изображать эти рыла — это казалось ему профанацией. Нет, это было возмутительно! Копии с музейных картин все-таки лучше: но на них нечего было уже рассчитывать. Закрывались последние музеи, и это не интересовало больше публику. Теперь прошло время дев и ангелов, теперь интересовались фронтовиком. В каждой семье был свой солдат, мертвый

или живой, чаще мертвый, и семья хотела увековечить его черты. Более богатые — в красках, что хорошо оплачивалось, но такие заказы становились редкими, и нечего было ломаться. За неимением этих заказов приходилось заниматься увеличением фотографий по смехотворным ценам.

Отсюда был ясен вывод, что ей незачем больше торчать в Париже: нет больше копий с музейных картин; достаточно было только раз в два-три дня приходить в магазин, чтобы получать заказ; работать приходилось дома. Это несколько не устраивало юную чету. И они продолжали бродить по улицам, не находя в себе решимости направиться к станции.

Так как они были утомлены и их насковозь пронизывал ледяной туман, они зашли в церковь; и там, сидя смиренно в углу придела, они вполголоса беседовали о своих повседневных делах и рассматривали росписные окна. Время от времени они умолкали, и тогда их души, освобожденные от слов, продолжали другой, более глубокий и серьезный разговор. Их интересовал не смысл слов, но дыхание их жизни, которое было, как беглое прикосновение дрожащих усиков насекомого. Сказочность росписных окон, тень колонн, монотонное жуужжание псалмов — все смешивалось с их мечтами, вызывало тоску по жизни, которую

они хотели забыть, и утешительную тоску по бесконечному. Хотя было уже около одиннадцати часов, в здании был желтоватый, сумеречный свет, — словно священный сосуд, наполненный маслом. Сверху, очень издавлек, доходили странные отблески: темный пурпур стекла, неясные фигуры, очерченные черными рамами. На высокой, темной стене кроваво-красный свет производил впечатление раны...

Внезапно Люс спросила:

— Разве вас *возьмут*?

Он сейчас же понял, потому что его мысль брела во тьме той же тропой:

— Да, — сказал он. — Но об этом не нужно говорить.

— Одно только. Скажите мне, когда?

Он сказал:

— Через полгода.

Она вздохнула.

Он сказал:

— Не надо об этом думать. К чему?

Она сказала:

— Да, к чему?

Они перевели дух, чтобы отогнать эту мысль. Затем принялись храбро (или, наоборот, следовало бы сказать: «трусливо»; решай, кто знает, в чем настоящее мужество!) говорить о других вещах.

О дрожащем пламени свечей в облаке пара; об органе; о проходившем мимо церковном стороже; о ящичке с сюрпризами, — ее ручном мешечке, в котором копались нескромные пальцы Пьера. Они со страстью интересовались пустяками. Ни одному из них и в голову не приходила мысль убежать от судьбы, грозившей им разлукою. Пойти против войны, поплыть против течения народа — это было равносильно тому, чтобы опрокинуть церковь, укрывавшую их под своими сводами! Единственным средством было забвение, надо забыть до последней секунды, надеясь в глубине души, что последней секунды этой никогда не будет. А пока наслаждаться счастьем.

Болтая, вышли они на улицу; она дернула его за рукав, желая обратить его внимание на выставочное окно, мимо которого они проходили. То был магазин обуви. Он видел, как взгляд ее с любовью остановился на высоких, изящных, кожаных ботинках.

— Хорошенькие! — сказал он.

Она заметила:

— Настоящие амурчики!

Он рассмеялся этому выражению, и она тоже засмеялась.

— А не велики они будут на вас?

— Нет, как раз по мерке.

— А не купить ли их нам?

Она сжала его руку и потащила его вперед, чтобы самой избавиться от созерцания ботинок.

— Для этого надо быть богатым... Это не для нас.

— Почему же нет? Ведь, Сандрильона надела свои башмачки?

— Да-а, в то время еще были феи.

— А в настоящее время существуют влюбленные.

Она напевала:

— Нет, нет, мой миленький дружок.

— Но почему же, если мы друзья?

— Вот именно поэтому.

— Поэтому?

— Да. Потому что этого нельзя приять от друга.

— А от врага можно?

— От чужого человека скорее, от моего заказчика, например. Если бы он вздумал дать мне аванс, этот скряга!

— Но, Люс, я, ведь, имею право, если хочу, заказать вам картину?

Она остановилась, чтобы передохнуть.

— Вы, заказать мне картину? Бедный друг мой, что же вы с ней делать будете? Достаточно и того, что вы смотрели мою работу. Я, ведь, хорошо знаю, что это пачкотня.

— Нисколько. Между ними есть очень миленькие. И потом... что же, если это мой вкус?

— Он очень изменился со вчерашнего дня.

— А разве запрещено меняться?

— Нет, если люди дружны.

— Лисс, сделайте мой портрет!

— Ну, вот! Теперь сделай его портрет!

— Но это совершенно серьезно. Чем я хуже этих идиотов?..

В необдуманном порыве сказала она его руку:

— Милый!

— Что вы сказали?

— Ничего.

— Я отлично расслышал.

— Ну, и держите это про себя!

— Нет, я не буду держать про себя. Я вам вдвойне верну это... Милая!.. Милая!.. Вы делаете мой портрет, неправда ли? Это решено?

— А есть у вас фотографическая карточка?

— Нет, у меня нету.

— Как же быть? Я не могу рисовать вас на улице.

— Вы мне сказали, что вы почти каждый день дома одна.

— Да, в те дни, когда мама работает на фабрике... Но я не решаюсь...

— Вы боитесь, что нас увидят?

— Нет, не потому: у нас нет соседей.

— Чего же вы в таком случае боитесь?

Она не отвечала.

Они пришли на площадь, где останавливается трамвай. Хотя там была публика, ожидавшая трамвая, их почти не было видно, туман продолжал изолировать парочку. Она избегала его взгляда. Он взял ее за обе руки и нежно сказал:

— Дорогая моя... не бойтесь...

Она подняла глаза, и они взглянули друг на друга. У них были такие честные глаза!

— Я вам верю, — сказала она.

И закрыла глаза. Она почувствовала, что для него она святая.

Они отпустили руки. Трамвай двинулся. Пьер устремил на Люс вопросительный взгляд.

— Когда? — спросил он.

— В среду, — ответила она. — Приходите к двум часам...

В минуту отъезда к ней вернулась ее лукавая усмешка, и она шепнула ему на ухо:

— И принесите фотографию... Я не умею еще рисовать без фотографии... Да, да, я знаю, что у вас есть карточка, фокусник вы этакий!

VIII

За Малаховым бульваром. Улицы с разрушенными домами, пересеченные пустыми участками, теряющимися в чем-то вроде поля, где цветут, за досчатыми заборами, хижины тряпичников. Тусклое, серое небо лежит на бесцветной, дымящейся, туманной земле. Морозный воздух. Дом легко найти: всего только три дома с этой стороны улицы. И он — последний; против него ничего нет. Он одноэтажный, его окружает маленький дворик с решеткою; два или три чахлых кустика и четырехугольник огорода, покрытый снегом.

Пьер входит бесшумно: снег заглушает его шаги. Но занавески на окнах колеблются, и когда он подходит к двери, она раскрывается, и Люс стоит на пороге. Они здороваются в полутьме передней полузаглушенными голосами, и она его ведет в первую комнату, служащую столовой. Тут она работает. У окна стоит ее мольберт. Сначала

они не знают, что сказать: они заранее слишком много думали об этой встрече; ни одна из приготовленных ими фраз не идет с языка, и они разговаривают вполголоса, хотя никого нет дома. Именно поэтому! Они сидят в нескольких шагах друг от друга с окостеневшими руками, и он даже не опустил воротника своего пальто. Они говорили о холодной погоде и о трамвайных маршрутах. Они были несчастны, и чувствовали себя такими глупыми.

Наконец, она, сделав над собою усилие, спросила, принес ли он фотографию, и как только он вынул карточки из кармана, оба они оживились. Изображения эти явились посредниками, через головы которых они разговаривают; они уже не одни: тут глаза, которые смотрят на них, и они несколько их не стесняют. Пьеру пришла в голову счастливая идея (он сделал это без всякой задней мысли) принести с собою все свои карточки с трехлетнего возраста; на одной он изображен был в юбочке. Люс рассмеялась от удовольствия и стала говорить карточке нежные и смешные слова. Разве есть для женщины что-нибудь приятнее, чем видеть изображение дорогого ей человека в детском возрасте? Мысленно она укачивает его, дает ему грудь, и она даже недалеко от того, чтобы мечтать, что она носила его в себе! И кроме того (о, она

не глупа!), у ней является очень удобный повод сказать маленькому то, чего она не говорит большому. Когда он спрашивает, которая из карточек ей больше нравится, она, не колеблясь, отвечает:

— Ну, конечно, этот славный мальчик...

Какой он серьезный! Серьезнее почти, чем теперешний Пьер. Конечно, если бы Люс осмелилась (и она, действительно, осмеливается) взглянуть и сравнить нынешнего Пьера с давнишним, она бы увидела в его глазах такое выражение самозабвения и детской радости, какого не было у ребенка; потому что глаза ребенка, этого буржуа под колпаком, — птицы в клетке, которым не хватает света; а теперь свет явился, неправда ли, Люс?.. Он, в свою очередь, хочет видеть фотографии Люс. Она показывает шестилетнюю девочку с толстой косою, сжимающую в объятиях маленькую собачку, и, взглянув на себя, она подумала, что и тогда она любила точно так же, как теперь; всю любовь, которая была в ее сердце, она отдавала своему Пьеру, своей собаке: это была уже любовь к Пьеру, в ожидании, что он явится. Она показала также молоденькую девицу лет тринадцати, четырнадцати, кокетливо и с претензиями вытягивавшую шею; к счастью, в уголку рта была плутовская улыбка, которая, казалось, говорила:

— Знаете ли, я забавляюсь; я не смотрю на это серьезно...

Теперь они совершенно забыли свою неловкость.

Она принялась набрасывать портрет. Так как ему нельзя было шевелиться, и он мог говорить только уголками губ, она разговаривала почти одна. Она инстинктивно боялась молчания. И как случается с людьми искренними, когда им приходится вести долгую беседу, она быстро доверила ему интимные подробности своей жизни и жизни родных, о которых и не собиралась рассказывать. Она удивлялась собственным словам, но не было никакой возможности остановиться: само молчание Пьера было, как скат, по которому бежал вниз поток...

Она рассказала о своем детстве в провинции. Она была из Турени. Ее мать, родом из зажиточной, буржуазной семьи, влюбилась в учителя, сына фермера. Буржуазная семья воспротивилась этому браку, но влюбленные стояли на своем; молодая девушка дождалась требуемого законом возраста и вышла замуж. Со времени ее замужества родные не хотели ее знать. Молодая супружеская чета несколько лет прожила, нуждаясь, но не переставая любить друг друга. Муж извелся от работы и заболел. Жена мужественно взяла на себя эту задачу и работала за двоих. Родители

ее, оскорбленные в своей гордости, отказались помогать им. Больной скончался за несколько месяцев до начала войны. Обе осиротевшие женщины даже и не старались завязать сношений с семьей. Семья приняла бы молодую девушку, если бы она явилась к ним, но это означало бы mea culpa в вопросе о поведении ее матери. Семье долго этого пришлось бы ждать! Скорее они стали бы питаться камнями!

Пьер удивлялся сердечной сухости этих буржуазных родителей. Но Люс не находила в этом ничего особенного.

— Неужели вы думаете, что мало таких людей, как они? Не злых. Я уверена, что мои дедушка с бабушкой не злые и что им даже трудно было не позвать нас: «вернитесь»! Но от этого слишком пострадало бы их самолюбие! А у людей только и есть большая страсть — самолюбие. Оно сильнее всего остального. Когда провинишься перед людьми, тут не только вина по отношению к ним, тут вина вообще: другие виноваты, а они правы. И, не будучи злыми (серьезно, они не злые!), они скорее допустят, чтобы вы умерли на медленном огне перед их глазами, но не сознаются, что, быть может, они ошибались. О, не они одни такие. Много есть таких!.. Скажите, разве я ошибаюсь? Разве они не таковы?

Пьер подумал и взволновался. Потому что он подумал вот что:

— Ну, конечно. Люди такие...

Внезапно, глазами молодой девушки, он увидел сердечную сухость и бесплодную пустынность буржуазного класса, к которому и он принадлежал. Сухая, использованная почва, постепенно выпившая все жизненные соки и не возобновляющая их, как азиатские равнины; плодоносные реки, протекающие по полю, капля за каплей просочились в пористый песок. Даже тех, кого они в своем воображении любят, они любят любовью собственников, они приносят их в жертву своему эгоизму, своей гордости, своему узкому, ограниченному уму. Пьер с грустью подумал о своих родителях и о себе — и замолчал. Окна домика дрожали от отдавленной канонады, и Пьер, подумав о тех, кто умирал там, с горечью сказал:

— И это тоже дело их рук.

Да, хриплый лай этих далеких пушек, мировая война, великая катастрофа — за все это большую долю ответственности несла сердечная сухость и бесчеловечность тщеславной и ограниченной буржуазии. А теперь (и это было справедливо) спущенное с цепи чудовище не остановится, пока не пожрет ее.

И Люс сказала:

— Это справедливо.

Потому что она, не подозревая этого, следила за мыслью Пьера. Пьер вздрогнул от этого эха.

— Да, это справедливо, — сказал он, — справедливо все, что случилось. Мир слишком стар, он должен был, он должен умереть.

И Люс, понутив голову, с печальной покорностью подтвердила:

— Да.

Торжественное выражение легло на эти детские, склонившиеся перед роком, лица, на которых забота начертала такие безнадежные мысли!..

В комнате стемнело. Было не слишком жарко. Руки у Люс заоченели, и она бросила работу, не позволив Пьеру взглянуть на нее. Они подошли к окну и смотрели на вечер, спускавшийся на печальные поля и покрытые лесом холмы. Фиолетового цвета леса образовывали полукруг на зеленом, покрытом бледно-золотистой пылью, небе. Над этим пейзажем парила душа Пювис де Шавана. Простое замечание, сделанное Люс, доказало, что она разбирается в этой скрытой гармонии. Он почти удивился этому. Она этим ничуть не оскорбилась и сказала, что можно чувствовать то, чего не в состоянии выразить. Если она плохо рисовала, это была не исключительно ее вина. Она не закончила своего образования в Школе Декоративных Искусств из-за экономи-

ческих, может быть, неправильно понятых соображений. Впрочем, ведь, только из-за бедности стала она рисовать. Зачем заниматься живописью, если нет нужды? Разве Пьер сам не говорил, что почти все занимаются искусством без истинной необходимости: кто из тщеславия, кто затем, чтобы чем-нибудь заниматься, или потому, что им кажется, будто их к этому тянет, а потом они не желают сознаться, что ошиблись. Художником человек должен сделаться только тогда, когда не может удержать про себя то, что чувствует, когда у него избыток этого. Но у нее, закончила Люс, способностей — ровно для одного человека.

— Нет, для двух, — прибавила она, заметив, что он надулся.

Красивая, золотистая окраска неба потемнела. Пустынная равнина приняла мрачный отпечаток. Пьер спросил Люс, не страшно ли ей в этом уединении.

— Нет, не страшно.

— А когда вы поздно возвращаетесь домой?

— Тут нечего бояться; апаши не приходят сюда, у них свои привычки. Ведь, это тоже своего рода буржуа. И кроме того, у нас есть сосед, старик-трипичник, а у него собака. И вообще, я не боюсь. Я этим не хвастаюсь, тут нет никакой заслуги. Я вовсе не храбрая. Только у меня

еще не было случая бояться. Когда я увижу что-нибудь действительно страшное, я испугаюсь, может быть, больше всякой другой. Разве знаешь самого себя?

— Я знаю вас, — сказал Пьер.

— Ну, это легко. Я тоже... вас знаю. Другого всегда лучше знаешь.

Сквозь закрытые стекла проникала ледяная сырость. Пьера пробрала дрожь. Люс, тотчас же почувствовавшая это, побежала приготовить ему чашку шоколада, который она сварила на спиртовке. Они подкрепились. Люс по матерински набросила свою шаль на плечи Пьера, и Пьер охотно принял эту услугу, как кот, наслаждающийся теплотой ткани. Ход их мыслей снова привел их к истории, которую Люс перестала было рассказывать. Пьер сказал:

— Так как вы живете с мамой одни, совершенно одни, вы, должно быть, очень привязаны друг к другу?

— Да, — сказала Люс. — Мы жили очень дружно.

— *Жили?* — повторил Пьер.

— О! Мы, конечно, любим друг друга! — сказала Люс, смутившись немного от того, что у нее вырвалось это слово. (Почему она всегда говорила ему больше, чем сама желала? А он, между тем, не спрашивал, не смел спрашивать. Но она видела,

что сердце его вопрошало ее. А как хорошо довериться кому-нибудь, если раньше у тебя не с кем было говорить обо всем! Тишина, царившая в доме, полутьма комнаты — все вызывало на излияния). Она сказала:

— Не поймешь, что творится в последние четыре года. Все очень изменилось.

— Вы хотите сказать, что вы или ваша мать изменились?

— Все, — повторила Люс.

— В чем же?

— Трудно сказать. Чувствуется, что всюду, между знакомыми, даже в семьях отношения уже не те. Теперь ни в чем нельзя быть уверенным. Утром говоришь себе: «Что я увижу вечером? Узнаю ли я его?» Словно стоишь на доске, которая плывет по воде и каждую минуту готова опрокинуться.

— Что же случилось?

— Не знаю, — сказала Люс, — не могу объяснить. Но все это с начала войны. Что-то такое носится в воздухе. Все расстроены. В семьях видишь, что те, кто раньше жить друг без друга не могли, расходятся теперь в разные стороны. И все, как пьяные, бегут, вынюхивая носом след.

— Куда же?

— Не знаю. И они, я думаю, тоже не знают. Туда, куда их толкают желание или удовольствие.

Женщины заводят любовников. Мужья забывают своих жен. И все это добрые люди, которые обычно кажутся спокойными, размеренными! Только и слышишь, что о расстроившихся семьях. То же происходит между родителями и детьми. Мама моя...

Она приостановилась, затем продолжала:

— У моей мамы своя жизнь.

Снова замолчала.

— Это вполне естественно! Она еще молода, и бедная мама не много счастья видела на своем веку. Она не истратила всего отпущенного ей запаса любви. Она вполне права, желая начать жизнь сначала.

Пьер спросил:

— Она собирается вторично замуж?

Люс покачала головою. Неизвестно... Пьер не посмел настаивать.

— Все-таки она любит меня. Но это не то, что было раньше. Теперь можно обойтись и без меня... Бедная мама! Она так огорчилась бы, если бы узнала, что не я занимаю первое место в ее сердце. Она никогда не созналась бы в этом... Сколько странного в жизни!

На губах ее была грустная, кроткая и вместе с тем лукавая усмешка. Пьер нежно положил свою руку на обе ее руки, опиравшиеся о стол, и сидел неподвижно.

— Все мы бедные создания, — сказал он.

Люс сказала после минутного молчания:

— Но как мы спокойны!.. Других прямо лихорадка бьет. Война. Фабрики. Бегут. Торопятся. Работать, жить, наслаждаться...

— Да, — сказал Пьер, — времени немного.

— Тем более следует не торопиться! — сказала Люс. — И так слишком скоро достигнешь цели. Будем лучше идти маленькими шагами.

— Но, ведь, жизнь-то убегает, — сказал Пьер. — Надо постараться ее удержать.

— Я ее держу, я ее держу, — сказала Люс, держа его за руку.

Так, то нежно, то серьезно, они беседовали, как старые друзья. Но все время они думали о том, чтобы стол был между ними.

Вдруг они заметили, что наступила ночь. Пьер внезапно поднялся. Люс не стала его удерживать. Минувал короткий час их свидания, и они боялись следующего часа. Они попрощались таким же сдавленным, глухим голосом и с таким же замешательством, как тогда, когда он пришел. Только на пороге они еле решились пожать друг другу руку.

Но когда он запер за собою дверь и был уже почти у выхода из сада, он повернул голову к окну и при последнем медном ответе сумерек

увидел в одном из оконных стекол силуэт Люс, которая в неверном, полутемном освещении, с выражением страсти на лице, следила за ним. Тогда он вернулся к окну и прижался губами к стеклу. Губы их сквозь стеклянную стену поцеловались. Затем Люс отступила в глубь темной комнаты и занавесь опустилась.

IX

В течение двух недель они ничего не знали о том, что творилось на белом свете. В Париже арестовывали и осуждали. Германия выворачивала на изнанку подписанные ею трактаты. Правительства лгали, пресса изрыгала хулу, армии занимались убийствами. Им было все равно. Они не читали газет. Они знали, что где-то вокруг них была война — как бывает тиф или инфлюэнца; но их это не касалось, они и думать об этом не желали.

Но ночь напоминала им об этом. Рано ложились они спать (днем у них бывало столько сердечных переживаний, что вечером они чувствовали себя совершенно изнуренными). Каждый в своем квартале, слышал они тревогу, но не желали вставать. Они зарывались головою в подушку, под одеяло, как ребенок во время бури — и не из страха, нет! (они были убеждены, что ничего не может случиться), а для того, чтобы

мечтать. Ночью Люс, слушая, бывало, дальние раскаты, думала:

«Как хорошо было бы ожидать в его объятиях, пока минует гроза!»

Пьер затыкал себе уши. Пусть ничто не смущает его мыслей. Он старался воспроизвести на рояле воспоминаний песню минувшего дня, мелодичную нить всех часов, начиная с первой минуты, когда он вошел в дом Люс, малейшие оттенки ее голоса и жестов; последовательные образы, быстро схваченные взглядом, тень ресниц; трепет волнения, промелькнувший под кожей, как зыбь на воде; усмешку, как луч солнца, тронувшую губы, и свою ладонь, прикасавшуюся к двум протянутым обнаженным ручкам, этим драгоценным отрывкам, которые в едином пожатии заключали все волшебное воображение любви. Он не позволял звукам извне проникнуть к нему. Внешний мир казался ему назойливым посетителем... Война? Да, знаю, знаю. Она тут. Ну, пусть подождет! И война терпеливо ожидала у дверей. Она знала, что ее очередь еще придет. И он это знал; вот почему он не стыдился своего эгоизма. Его захватит волна смерти. Он ничего не должен давать ей авансом. Ничего. Пусть смерть придет в назначенный ей срок! А до того, — пусть молчит! Ах, он не желал, сейчас, по крайней мере, терять что

бы то ни было из этого чудесного времени; каждая секунда была — золотое зерно, а он был — скупец, оцупывавший свои сокровища. Это мое, мое добро. Не прикасайтесь к моему миру, к моей любви! Это мое до тех пор, пока... Пока час пробьет? А может быть, он не пробьет! Чудо? Почему же нет?

А между тем текла река часов и дней. При каждом новом повороте слышнее становился шум порогов. Пьер и Люс, растянувшись в лодке, прислушивались. Но они уже не боялись. И даже больше: этот грубый голос укачивал их любовный сон, как басы органа. Когда бездна уже будет перед ними, они закроют глаза, теснее прижмутся друг к другу, и одним ударом все будет кончено. Бездна избавит их от труда думать о жизни, которая еще придет, о безысходном будущем. Люс предвидела, ведь, препятствия, которые встретил бы Пьер, если бы пожелал жениться на ней, и Пьер, не так ясно (он меньше, чем она, любил ясность), тоже этого боялся. Но не будем так далеко заглядывать! Жизнь после бездны была совсем как та «потусторонняя жизнь», о которой говорится в церкви. Говорят, что все там встретится, но никто в этом не уверен. Одно только верно: настоящее. Наше настоящее. О — отдадим ему, не считая, всю нашу долю вечности!

Люс еще меньше, чем Пьер, интересовалась новостями. Война не занимала ее. Это было еще одно бедствие вдобавок ко всем прочим, которыми сплошь заткана социальная жизнь. Удивиться им могут только те, кто защищен от голой действительности. И молоденькая девушка, преждевременно опытная, знакомая с борьбой за хлеб насущный — *panem quotidianum*... (даром Господь не даст его!) — разъясняла своему другу-буржуа сущность убийственной войны, которая в действительности никогда не прекращается для бедных людей и особенно для женщин, а тайно царит под маскою мира. Впрочем, много она не говорила ему, из боязни огорчить его. Когда она видела, в какое волнение он приходил от ее рассказов, ее охватывало нежное чувство своего превосходства. Она, как большинство женщин, не испытывала чувства физического и нравственного отвращения при виде некоторых отталкивающих явлений жизни, совершенно расстраивавших молодого человека. Она была совсем не революционерка. Будь обстоятельства хуже, она без всякого отвращения взялась бы за самую грязную работу и, справившись с ней, осталась бы незапятнанной, чистой и спокойной. Но теперь она этого не могла. С тех пор, как она познакомилась с Пьером, к ней вместе с любовью привились вкусы и

антипатии ее друга. Но это не было у нее врожденным; по природе — она была спокойная и веселая, совсем не пессимистка. Меланхолия, разочарование в жизни — это было не ее дело. Жизнь такова, какова она есть. Такою и возьмем ее! Она могла бы быть и хуже! Превратности существования, которое Люс всегда, и особенно со времени войны, считала случайным, опирающимся на изобретательность, приучили ее не заботиться о завтрашнем дне. Прибавьте еще, что этой свободной юной француженке совершенно чужды были мысли о потустороннем мире: она вполне удовлетворялась жизнью на земле. Люс находила ее прекрасною, но все же она держится на ниточке, и достаточно малейшего толчка, чтобы нить порвалась, так что, право, не стоит мучиться мыслью о том, что будет завтра. Впитывайте в себя, глаза мои, освещающий вас сегодня мимоходом день! А что касается грядущего, то доверься, сердце мое, течению!.. Ведь, ничего другого не поделаешь!.. А пока мы друг друга любим, — разве это не восхитительно? Люс отлично знала, что это не надолго. Но, ведь, и жизнь ее — не надолго...

Она несколько не походила на юношу, который ее любил, которого она любила, нежного, пламенного и нервного, счастливого и несчастного,

который всегда слишком наслаждался и слишком страдал, и страстно отдавался, и страстно боролся, — он был ей дорог именно потому, что совершенно не походил на нее. Но оба они молча сходились в одном: не заглядывать в будущее. Она — с беспечностью журчащего ручейка; он — с восторженным отрицанием, которое погружается в бездну настоящего и не желает выходить оттуда.

X

Старший брат приехал на несколько дней в отпуск. С первого же вечера он заметил, что произошла какая-то перемена в семейной атмосфере. Какая? Он не мог бы сказать, но ему было досадно. Ум снабжен щупальцами, которые уже издали осязают предмет, раньше чем сознание ощупает его. Самыми чувствительными щупальцами наделено самолюбие. Щупальцы Филиппа шевелились, искали и удивлялись: им чего-то не хватало... Разве вокруг него не была привязанность, приносившая ему обычную дань — внимательная аудитория, которой он скупо отмеривал свои рассказы — его родители, восторженно пожимавшие его глазами, — младший брат?.. Стой-ка! Вот его-то и не хватает!

Он был тут, но он не спешил душою к старшему брату; он не добивался, как всегда, дружеских его сообщений, в чем тот любил отказывать ему. Жалкое самолюбие! Филипп, разыгравший

всегда, под градом пылких вопросов младшего брата, роль насмешливого и утомленного покровителя, был теперь задет тем, что тот ему этих вопросов не задавал; Филипп сам старался вызвать эти вопросы. Он стал болтливее обыкновенного и смотрел на Пьера такими глазами, словно хотел дать понять ему, что рассказывает специально для него. В другое время Пьер подскочил бы от радости и на лету подхватил бы брошенный ему платок. А теперь он спокойно предоставил Филиппу поднять платок, если ему угодно. Филипп, задетый, стал иронизировать. Пьер, вместо того, чтобы рассердиться, спокойно отвечал в том же тоне. Филипп хотел спорить, разволновался, стал держать целую речь. Но после нескольких минут заметил, что разглагольствует - то он один. Пьер смотрел на него и словно говорил:

— Пожалуйте, дорогой мой! Продолжай, если тебе это доставляет удовольствие. Я слушаю тебя...

И при этом дерзкая улыбочка!.. Братья поменились ролями.

Оскорбленный Филипп умолк и стал внимательнее наблюдать за младшим братом, которого он, явно, уже больше не занимал. Как он изменился! Родители, постоянно видевшие его, ничего не замечали; но проникательные и, сверх того,

ревнивые глаза Филиппа, не видевшие его несколько месяцев, не находили знакомого выражения. Вид у Пьера был счастливый, томный, рассеянный, туповатый, равнодушный к людям, невнимательный к вещам; он, словно молодая девушка, как бы витал в атмосфере страстных мечтаний. И Филипп почувствовал, что не занимает больше места в мыслях своего брата.

Так же ловко, как других, анализировал Филипп и себя, и поэтому он быстро осознал свою досаду и стал насмехаться над нею. Отбросив в сторону самолюбие, он заинтересовался Пьером и стал добиваться, в чем причина происшедшей с ним метаморфозы. Он хотел теперь добиться его доверия; но к такой роли он не привык; и, кроме того, у младшего брата, казалось, не было потребности довериться кому бы то ни было. Развязно и хитро улыбаясь, смотрел он, как неловко старался Филипп протянуть ему жердь; а сам при этом держал руки в карманах, думал о чем-то другом, насвистывал и отвечал совершенно неопределенно, не слушая даже, о чем его спрашивали... а потом вдруг уходил к себе. Спокойной ночи! Его уже нет! В руках оставалось только его отражение, ускользавшее меж пальцев. А Филипп, как отвергнутый любовник, чувствовал теперь цену и таинственное очарование утерянному им сердцу.

Совершенно неожиданно открылся ему ключ к этой загадке. Однажды вечером он возвращался домой по бульвару Монпарнас и там, в тени деревьев, встретил Пьера и Люс. Он боялся, как бы они не заметили его. Но они нисколько не интересовались тем, что окружало их. Тесно прижавшись друг к другу, они шли мелкими шажками, нежно сочетавшиеся, как Эрос и Психея на брачном ложе Фарнезины. Пьер опирался на руку Люс, и пальцы их переплелись. Они, словно сделанные из воска, сливались во едино своими страстными взглядами. Опираясь о дерево, смотрел Филипп, как они проходили, останавливались, опять шли, исчезли в ночной темноте. И сердце его полно было сострадания к этим детям. Он думал:

— Я обречен. Да будет так! Но несправедливо брать и таких вот. Если бы я мог, по крайней мере, заплатить за их счастье!

— На следующее утро Пьер, несмотря на свою вежливую невнимательность, смутно заметил (правду сказать, не сразу, а после некоторого размышления) нежный тон, в котором брат разговаривал с ним. И, наполовину очнувшись, он разглядел его добрые глаза, которых раньше не знал у него. Филипп так ясно смотрел, что у Пьера явилось впечатление, будто взгляд этот исследует

его, и он неловко старался опустить завесу на свою тайну. Но Филипп улыбнулся, встал и, положив ему на плечо свою руку, предложил прогуляться. Он не мог противостоять восстановившимся между ними добрым отношениям, и они вместе отправились в соседний Люксембургский сад. Старший брат опирался рукою о плечо младшего, и последний, казалось, гордился восстановленной между ними дружбой. Язык у него развязался. Они оживленно беседовали об умных вещах: о чтении, о взглядах на людей, об их новом опыте, обо всем, за исключением того, о чем они оба думали. Это было как бы молчаливое соглашение. Они были счастливы, чувствуя какую-то интимную близость и сознавая вместе с тем, что между ними была тайна. Болтая, Пьер спрашивал себя:

— Знает он?... Откуда же он может знать?..

Филипп, улыбаясь, смотрел, как младший брат болтал. Пьер, наконец, остановился среди фразы..

— Что с тобою?

— Ничего. Я смотрел на тебя. Я доволен.

Они пожали друг другу руку. Возвращаясь, Филипп спросил:

— Ты счастлив?

Пьер, молча, сделал головою утвердительный жест.

— Ты прав, дружок мой. Самое прекрасное в жизни, это счастье... Возьми и мою долю...

Филипп, чтобы не волновать брата, во время своего отпуска избегал намеков на близкий призыв возраста Пьера. Всё же в день отъезда он не мог удержаться, чтобы не выразить своего беспокойства по поводу того, что скоро младший брат подвергнется испытаниям, которые старшему были уже хорошо знакомы. Но только легкая тень скользнула по челу влюбленного. Он легонько нахмурил брови, прищурил глаза, как бы желая прогнать какой-то призрак, и сказал:

— Баста!.. Потом!.. Chi lo sa?..

— Это слишком известно, — сказал Филипп.

— Во всяком случае, я знаю только одно, — сказал Пьер, раздраженный настойчивостью брата, — когда я буду там, убивать я не стану.

Филипп, не возражая, грустно улыбнулся: он отлично знал, во что превращает непоколебимая стадная сила слабые души и их волю.

XI

Вернулся март, и с ним — более длинные дни и первое пение птиц. Но вместе со светом разгоралось и мрачное пламя войны. В воздухе носилось лихорадочное ожидание катаклизма. Слышно было, как усиливался чудовищный рев пушек, как громыало оружие миллионов врагов, в течение месяцев все выше вздымавшееся против плотины траншей и теперь уже готовое выйти из берегов и излиться потоком на Иль-де-Франс и на город. Бичу этому предшествовали ужасающие слухи: совершенно фантастические ядовитые газы; яд, распространявшийся в воздухе, который, как говорили, опускался на провинции и уничтожал все, подобно газовой удушающей шапке, окружавшей кратер Пелэ. Наконец, все более и более приближавшиеся набег готов поддерживали нервное напряжение Парижа.

Пьер и Люс попрежнему знать не хотели ничего о том, что окружало их, но лихорадка, которую они, неведомо для себя, вдыхали в тяжелом, грозном воздухе, разжигала желание, скры-

вавшееся в их молодых телах. Три года войны распространили в умах обитателей Европы свободу от нравственных устоев, которой прониклись и самые честные люди. А в нашей молодой паре ни тот, ни другая не были религиозны. Но их охраняла чистота их сердец, их инстинктивная стыдливость. В тайне они решили отдаться друг другу прежде, чем слепая жестокость людей разлучит их. Они не говорили об этом друг с другом. Но в этот вечер они сказали.

Раз или два раза в неделю работа удерживала мать Люс на фабрике на всю ночь. И Люс, чтобы не оставаться одной в пустынном квартале, проводила эти ночи у своей подруги в Париже. За ней никто не следил. Влюбленные пользовались этим случаем и проводили часть вечера вместе, а иногда скромно обедали в ресторанчике. Когда они, пообедав, вышли в этот мартовский вечер из ресторана, они услышали сигнал тревоги. Они спрятались под ближайшее прикрытие, как при наводнении, и некоторое время развлекались наблюдениями над своими случайными товарищами. Но так как опасность казалась далекой и ничто не предвещало конца тревоги, а Люс и Пьер не желали возвращаться слишком поздно, то они, весело болтая, пустились в путь. Они шли по старой, темной и узкой улице недалеко от церкви Сэн-Сюльпис.

Они проходили мимо ворот, у которых стоял извозничий экипаж; возница и лошадь спали. Пьер и Люс были на противоположном тротуаре, шагах в двадцати, как вдруг все вокруг задрожало: показался ослепительный красный свет, послышался удар грома, посыпались разбитые кирпичи и стекла. Они прижались в углублении к стене дома, резко, углом выступавшего на улицу, и тела их сплелись. При блеске молнии увидели они глаза друг друга, полные испуга и любви. В наступившей ночи прозвучал голос Люс, умолявший:

— Нет! Я еще не хочу!..

И Пьер почувствовал на своих губах страстные губы и зубы. Трепеща, стояли они на темной улице. В нескольких шагах от них вышедшие из домов люди подымали среди обломков распотрошенного экипажа умирающего извозчика; они прошли совсем близко от молодой четы, унося несчастного, истекавшего кровью. Люс и Пьер стояли, пораженные, так близко прижавшись друг к другу, что когда сознание вернулось к ним, им показалось, что тела их были обнажены в этом объятии. Они разжали руки и губы, впившиеся друг в друга и, как корни, впивавшие в себя любимое существо. И оба они дрожали.

— Пойдем! — сказала Люс, охваченная священным ужасом.

Она увлекла его.

— Люс, ты не дашь мне расстаться с жизнью раньше, чем?..

— О, Боже! — вздохнула Люс, сжимая его руку, — эта мысль была бы ужаснее смерти!

— Любовь моя! — сказали они.

Они снова остановились.

— Когда же я буду твоим? — спросил Пьер.

(Он не осмелился спросить: «Когда ты будешь моею?»)

Люс заметила это, и это тронуло ее.

— Обожаемый мой, — сказала она ему... — Скоро! Не торопись. Ты не можешь желать этого больше, чем я желаю!... Останемся так еще некоторое время... Это так прекрасно!.. Еще этот месяц до конца!..

— До Пасхи? — спросил он.

(Пасха в том году приходилась в последний день Марта).

— Да, до Воскресения.

— Ах! — возразил он, — но, ведь, воскресению предшествует смерть.

— Тише! — сказала она, поцелуем зажимая ему рот.

Они освободились из объятий друг друга.

— Сегодня наше обручение, — сказал Пьер.

Они пошли, опираясь друг на друга, и на ходу роняли слезы нежности. Под ногами у них трещали

осколки стекла, и мостовая была покрыта кровью. Ночь и смерть окружали их любовь. Но над их головами, в амбразуре двух черных стен узкой улицы, билось, как в волшебном круге, в глубине неба сердце звезды...

И вот! Колокола поют, огни зажигаются, улицы оживают. Воздух свободен от неприятеля. Париж дышит легче. Смерть бежала.

XII

Наступил канун Вербного Воскресения. Ежедневно проводили они вместе несколько часов; они и не пытались прятаться. Им не в чем было давать отчет свету; они были привязаны к нему такими тонкими нитями, и так легко им было порваться! За два дня до этого началось великое германское наступление. Волна эта бушевала на пространстве более ста километров. Город потрясали непрерывные волнения: взрыв в Курнёве, как землетрясение, всколыхнувший Париж; постоянные тревоги, прерывавшие сон и трепавшие нервы. В это субботнее утро, после тревожной ночи, все, кто сегодня только очень поздно уснул, проснулись под грохот отдаленной таинственной пушки, которая, нащупывая, приносила из-за Соммы, как бы с другой планеты, смерть. При первых выстрелах, которые поняли как знак возвращения готов, люди послушно спрятались в погреба; но длительная опасность превращается в привычку; жизнь к ней приспособляется и даже, пожалуй, находит в ней своего рода прелесть, если риск не слишком велик

и его разделяют многие. Была, впрочем, очень хорошая погода, и просто жалко было заживо хоронить себя. Еще раньше полудня все было уже на воздухе, и все улицы, сады и террасы кафе имели праздничный вид в этот смеющийся и блистающий день.

В этот именно час Пьер и Люс отправились далеко от толпы на прогулку в Шавильский лес. Уже десять дней, как они жили в экзальтированном покое, с глубоким миром в сердце и с трепещущими нервами. Чувствуешь, словно живешь на острове, вокруг которого бушует бешеный поток: голова кружится, и в ушах шумит. Но вдруг в глубине души, когда ресницы опущены, уши зажаты руками и словно дверь заперта на замок, — вдруг запоет обольстительная тишина, неподвижный летний день, в котором скрывается невидимая радость, запоет, будто спрятавшаяся птица, прозрачную и свежую, как ручеек, песенку. О, радость! Волшебный певец, лепет счастья! Я отлично знаю, что достаточно щелчки между моими ресницами или что стоит мне на минуту отнять палец от уха — и в душу проникнет шум и бурление потока. Это хрупкий шлюз! Но радость еще возрастает от сознания хрупкости... Даже мир и тишина дышат страстью!

В лесу они держали друг друга за руки. Первые весенние дни — это молодое вино, ударяющее

в голову. Молодое солнце ошьяняет все чистое соком своего винограда. По обнаженным еще лесам разливается свет; и сквозь безлистные ветви глядит голубой глаз неба, очаровывая и усыпляя разум. Они едва дерзали обмениваться несколькими словами. Язык отказывался продолжать начатое предложение. Ноги у них стали какие-то мягкие и двигались неохотно. Они шатались от этого солнца и от тишины леса. Их притягивала к себе земля. Лечь на дорогу! Нестись на великом мировом колесе...

Они взобрались на откос дороги, зашли в лесок и растянулись на сухих листьях; кое-где уже проглядывали фиалки. Первое пение птиц и отдаленный гул пушек примешивались к благовесту деревенских колоколов, возвещающему завтрашний праздник. Сверкающий воздух пропитан был надеждою, верою, любовью, смертью. Несмотря на уединение, они разговаривали вполголоса. Сердца у них сжимались — от счастья? или от горя? Они не сумели бы сказать. Они были погружены в мечтания. Люс лежала неподвижно, вытянув руки вдоль тела, с открытыми, устремленными в небо глазами; она чувствовала, как подымается в ней горе, которое она, не желая портить радостного дня, с утра подавляла. Пьер, как спящий ребенок, положил голову на колени Люс, прижавшись лицом к теплоте

ее живота. И Люс, молча, ласкала уши, глаза, нос и губы своего возлюбленного. Как умпы были ее милые руки! Казалось, как в сказке, что на кончике каждого пальца был свой крошечный рот! И Пьер, сознательная клавиатура, угадывал по незначительному трепету ее пальцев пробежавшие в душе его подруги волнения. Прежде чем она вздыхала, он слышал ее вздох. Люс приподнялась, наклонившись телом вперед, и, затаив дыхание, простонала вполголоса:

— О, Пьер!

Взволнованный Пьер смотрел на нее.

— О, Пьер! Что мы такое?.. Чего от нас хотят?.. Чего мы хотим?.. Что происходит в нас?.. Эта пушка, эти птички, эта война, эта любовь... эти руки, это тело, эти глаза... Где я?.. И что я такое?..

Пьер, раньше не знавший у нее этого блуждающего выражения, хотел заключить ее в объятия; но она его оттолкнула:

— Нет! Нет!

И, закрывшись руками, она сиротала лицо в траву. Пьер, расстроенный, умолял ее:

— Люс!

Он придвинулся головою совсем близко к голове Люс.

— Люс! — повторил он. — Что с тобою? Ты имеешь что-нибудь против меня?

Она приподняла голову:

— Нет!

На глазах у нее были слезы.

— Ты огорчена?

— Да.

— Чем же?

— Не знаю.

— Скажи мне...

— Ах, сказала она, «мне стыдно...»

— Стыдно? Чего?

— Всего.

И она замолчала.

С самого утра сегодня ее преследовало унижающее и мучительное зрелище: мать ее, опоенная ядом, бродившим на этих фабриках сладострастия и убийства, в этих чанах, в которых копошится человечество, потеряла всякую сдержанность. Сегодня утром, у себя дома, она устроила своему любовнику сцену бешеной ревности, совершенно не думая о том, что дочь слышит ее; и Люс узнала, что мать ее беременна. Это было для нее словно оскорбление, которое и на нее падало, которым была запятнана любовь вообще, а также и ее любовь к Пьеру. Вот почему, когда Пьер приблизился к ней, она оттолкнула его: ей стыдно было его и себя... Стыдно его? Бедный Пьер!...

А он, униженный, сидел и не осмеливался шевельнуться. Ей стало совестно, она улыбнулась сквозь слезы и, опершись головою о колени Пьера, сказала:

— Теперь моя очередь!

Пьер, все еще обеспокоенный, погладил ее по волосам, как ласкают кошку. Он пробормотал:

— Что это было, Люс? Скажи мне!...

— Ничего, — ответила она, — мне пришлось видеть печальные вещи.

Он слишком уважал ее тайны и не настаивал. Но Люс через минутку опять начала:

— Ах! бывают мгновения... стыдно становится, что ты человек...

Пьер вздрогнул.

— Да, — сказал он.

И помолчав, наклонившись к ней, он сказал совсем тихо:

— Прости!

Люс стремительно вскочила и бросилась на шею Пьеру, повторяя:

— Прости!

И они поцеловались.

У этих детей была потребность утешить друг друга. Они не говорили этого, но всегда думали про себя:

— Счастье, что мы умрем! Самое ужасное — это сделаться одним из тех людей, которые так гор-

дятся тем, что они люди, что они уничтожают, уничтожают...

Прижавшись губами, касаясь один другого ресницами, они, улыбаясь, с нежным состраданием, погружали друг в друга свои взоры. И им не надоедало это божественное чувство, являющееся самой чистою формою любви. Наконец они оторвались от созерцания друг друга, и Люс с повеселевшими глазами снова увидела кротость неба, возрождающиеся деревья и дыхание цветов.

— Как все прекрасно! — сказала она.

Она подумала:

— Почему вещи так прекрасны? И только мы так бедны, так посредственны, так безобразны!.. (Но не ты, моя любовь, не ты!...)

Она снова взглянула на Пьера.

— А! какое мне дело до остальных?

И не логично, как сама любовь, она звонко рассмеялась, одним прыжком вскочила на ноги и побежала в лес, крича:

— Лови меня!

Весь остаток дня они играли, как дети. А когда они очень утомились, маленькими шажками они вернулись в долину, полную лучей заходящего солнца — как корзина снопами. Все, чем они наслаждались, казалось им новым, у них было одно сердце для двоих и два тела для одного.

XIII

Их было пятеро товарищей по занятиям и сверстников; они сошлись у одного из них; их свело в одну группу и поставило в сторонку от прочих некоторое духовное сродство в первом полете их мысли. И тем не менее, не было между ними и двух, которые бы мыслили одинаково. Под предполагаемым единодушием сорока миллионов французов скрывается сорок миллионов мозгов, из которых каждый думает по своему. Мысль Франции подобна ее территории: это страна маленьких поместий. Пять друзей старались из своих углов обмениваться через забор мнениями. Но они таким образом только крепче утверждали их каждый для себя. Впрочем, все они были свободомыслящие и, если не все были республиканцами, то все были врагами умственной или социальной реакции, возвращения вспять.

Самым горячим сторонником войны был Жак Сэ. Этот благородный молодой еврей впитал в себя все ду-

ховные страсти Франции. Во всей Европе его братья во Израиле, как и он, обручались делу и идее их приемных отечеств. У них было даже стремление преувеличивать все, что они принимали. Этот красивый юноша, с пламенным, несколько тяжелым взглядом и голосом, с правильными, четко вырезанными чертами лица, был в своих убеждениях решительнее, чем этого требовала необходимость, и был очень резок, когда ему противоречили. Он проповедывал крестовый поход демократий против войны, чтобы убить войну. Четыре года филантропической бойни не убедили его. Он был из тех, которые никогда не принимают фактов, опровергающих их теории. У него была двойная гордость: скрытая гордость его племени, которое он хотел реабилитировать, и личная гордость, которая хотела доказать свою правоту. Он этого хотел тем более, что не был убежден в своей правоте. Его искренний идеализм служил ширмою его требованиям, слишком долго подавляемым инстинктом, его порывам к деятельности и к приключениям, тоже очень у него искренним.

Антуан Ноде тоже был за войну, но он — просто потому, что иначе не мог. Этот толстый молодой буржуа с розовыми щеками, спокойный и изящный, с коротким дыханием, картавивший «р» с грацией уроженца центральных провинций, спокойно

улыбаясь, созерцал красноречивый энтузиазм своего друга Са. Или небрежным словом заставлял его иногда карабкаться на дерево, но сам, — лентяй! — ни за что за ним туда не полезет! Зачем ломать копья за или против того, что от нас не зависит? Только в трагедиях встречается героическая и многословная борьба между долгом и удовольствием. Когда нет выбора, то без фраз исполняешь свой долг. Это вовсе не весело! Ноде ничем не восхищался и ничего не осуждал. Здравый смысл подсказывал ему, что раз дело начато и люди дерутся, надо идти по течению: нет другого выхода. Что касается разыскивания виновников, то это значило бы терять даром время. Когда я должен драться, то для меня совершенно безразлично, если я узнаю, что я мог бы не драться, если бы положение вещей было... не таково, каково оно было!

Кто виновники? Для Бернара Сесса это именно и был коренной вопрос; он из всех сил старался распутать этот змеиный узел; или, правильнее, он как маленькая фурия, потрясал им над своей головою. Хрупкий, изящный, страстный, очень нервный, сжигаемый слишком сильной работой мозга, родом из старой, богатой буржуазной семьи, члены которой занимали самые видные должности в государстве, он, по закону реакции, исповедывал ультра-революционные идеи. Он слишком близко

видел господ положения и их шайку. Он обвинял все правительства и свое в особенности. Он говорил только о синдикалистах и о большевиках; он только недавно открыл их и брался с ними, словно с детства знал их. Не зная точно лекарства, он видел единственное средство в полном ниспровержении общества. Он ненавидел войну, но с величайшим наслаждением пожертвовал бы собою в классовой войне, в войне против своего класса, в войне против самого себя.

Четвертый член группы, Клод Пюже, с холодным и несколько презрительным вниманием присутствовал при этих словесных боях. Родом из низших слоев буржуазии, бедный, увезенный из провинции заметившим его способности проезжим инспектором, равно лишившийся семейной обстановки, этот стипендиат лицея, привыкший рассчитывать только на себя и жить одиноко, жил только собою и для себя. Это был философ-эгоист, отдававший анализу души, сладострастно, как жирный кот, свернувшийся в клубок, копавшийся в самом себе,—и его не заражала ажитация окружающих. Он валил в одну кучу со всей толпой своих трех разномыслящих друзей. Разве они все трое не роняли себя, стремясь разделить веру толпы? Сказать правду, каждому из них толпа представлялась другой. Но для Пюже толпа,

какова бы она ни была, всегда была виновата. Толпа была врагом. Разум должен оставаться один, и следовать своим только законам, и основать в стороне от плебса и государства свое собственное, замкнутое царство мысли.

Пьер, сидя у окна, рассеянно глядел в него и мечтал. Обыкновенно он страстно вмешивался в эти юношеские состязания. Но сегодня это казалось ему жужжанием праздных слов, издали доносившимся до него среди скучного и насмешливого полуоцепенения. Другие, занятые спором, долгое время не замечали его немоты. Но Сессэ, привыкший находить в Пьере эхо своих большевистских разглагольствований, заметил, наконец, его молчание и потребовал у него ответа.

Пьер, внезапно разбуженный, покраснел, улыбнулся и спросил:

— О чем вы говорите?

Они возмутились.

— Но ты ничего не слышал?

— О чем же ты думал?—спросил его Ноде.

Пьер, немного сконфуженный, немного дерзкий, ответил:

— О весне. Она пришла без вашего разрешения. И уйдет без нас.

Все обрушили на него свое презрение. Ноде назвал его «поэтом», а Жан Сэ «поэтром».

Только Пюже, прищурив свои холодные глаза, с любопытством и иронией смотрел на него. И он сказал:

— Крылатый муравей!

— Что? — спросил заинтересованный Пьер.

— Береги свои крылья! — сказал Пюже. — Это брачный полет. Он длится только один час.

— И жизнь длится не дольше, — ответил Пьер.

XIV

На страстной неделе они видались ежедневно. Пьер приходил к Люс в ее уединенный домик. Скучный садик оживал, и они проводили в нем все послеполуденное время. Теперь у них была антипатия к Парижу, к толпе, к жизни. Временами они, словно морально парализованные, молча сидели друг возле друга, не хотелось двинуться с места.

Странное чувство овладело ими обоими: они боялись. Боялись по мере того, как приближался день, в который они должны были отдаться друг другу; они боялись от избытка любви, от чистоты души, которую пугали безобразия, жестокости и постыдные стороны жизни; в опьянении страстью и меланхолией, душа мечтала о том, чтобы освободиться от всего этого. Но друг другу они ничего об этом не говорили.

Большую часть времени они тихонько болтали

о будущей своей квартире, об общих занятиях, о своем маленьком хозяйстве. Они устраивались заранее, до мельчайших подробностей, устанавливали мебель, раскладывали бумаги, определяли место каждой вещи. Люс, как настоящую женщину, трогало иногда до слез упоминание обо всех этих пустяках, об этих семейных подробностях повседневной жизни.

Они наслаждались радостями будущего домашнего очага... Они знали, что ничего этого не будет; Пьер знал — по врожденному своему пессимизму, Люс — по ясновидению любви, которая понимала практическую невозможность брака... Поэтому-то они и торопились насладиться им хоть в мечтах. И каждый из них скрывал от другого свое убеждение, что это останется мечтою. Каждый из них думал, что только он знает этот секрет, и старался сохранить иллюзию в другом.

Когда они исчерпывали горестные наслаждения невозможным будущим, они ощущали такую усталость, словно уже пережили это будущее. Тогда они отдыхали в беседке из сухих выющихся растений, в которых солнце будило их замерзшие соки; Пьер склонял голову на плечо Люс, и они, мечтая, прислушивались к жужжанию земли. Молодое мартовское солнце играло в прятки под кочующими облаками, оно то смеялось, то исчезало.

Светлые лучи и темные тени сменялись в долине, как радость и горе чередуются в душе.

— Люс, — сказал вдруг Пьер, — разве ты не помнишь?.. Давно, давно это было... Мы уже были вот так...

— Да, — сказала Люс, — это правда. Я все узнаю, все... Но где же мы были?

Они развлекались, придумывая, под какими же это формами они знали друг друга. Были они тогда людьми? Может быть. Но тогда наверное Пьер был девушкой, а Люс была мальчиком... Может быть, они были птицами? Когда Люс была ребенком, мать ей сказала, что она попала к ним через камин в виде маленького дикого гусенка... Увы! она сломала себе крылья!.. Но больше всего им нравилось находить себя в текучих бесформенных элементах, которые проникают друг в друга, свертываются, разворачиваются, как завитки сна или дыма: белые облака, тающие в пучине неба, маленькие, играющие волны, дождь на земле, роса в траве, семена одуванчика, на паутинке летящие в воздухе... Но ветер уносит их. Только бы он не задул опять, и мы не потеряли бы друг друга навсегда!

Но Пьер сказал:

— Я думаю, что мы никогда не разлучались; мы были вместе так же, как сейчас вот, лежали

друг около друга: только мы спали, и нам снились разные сны. Временами мы просыпались... Еле-еле... я чувствую твое дыхание, твоя щека у моей... Мы делаем большое усилие, целуемся... Опять засыпаем... Дорогая, дорогая моя, я здесь, держу твою руку, не покидай меня!.. Теперь еще не пора, весна еле показывает кончик своего замерзшего носа...

— Как твой, — вставила Люс.

— Скоро мы проснемся в прекрасный летний день...

— Мы сами будем прекрасным летним днем, — сказала Люс.

— Мы будем душной тенью лип, солнцем, проникающим сквозь ветви, поющими пчелами...

— Персиком на шпалере и его душистой мякотью...

— Отдыхом жнецов и их золотистыми снопами...

— Ленивыми стадами, медленно пережевывающими жвачку...

— А вечером, при закате солнца, мы будем, как цветущий пруд, как бегущий, жидкий, на уровне полей, свет...

— Мы будем всем, — сказала Люс, — всем, на что приятно смотреть, что приятно иметь, целовать, кушать, трогать, вдыхать... А остальное

предоставим им, — добавила она, указывая на город и на расстилавшийся над ним дым.

Она рассмеялась; затем, целуя своего милого, сказала:

— Мы отлично пропели наш дуэт. Правда, мой друг Пьеро?

— Да, Джессика, — ответил он.

— Бедный мой Пьеро, — снова начала она. — Мы не слишком-то подходящи были для этого мира, где только и умеют петь *Марсельезу*!..

— Если бы они хоть умели петь ее! — заметил Пьер.

— Мы ошиблись станцией, мы слишком рано слезли.

— Боюсь, — сказал Пьер, — как бы следующая станция не оказалась еще хуже. Видишь ты нас, дорогая моя, в обществе будущего, в этом обещанном нам улье, где никто не имеет права жить иначе, как только для царицы-матки или для республики?

— Сыпать, как митральеза, яйцами с утра до вечера, или с утра до вечера лизать яйца других... Спасибо за такой выбор! — сказала Люс.

— О, противная Люс, как ты можешь говорить такие гадости! — смеясь, воскликнул Пьер.

— Да, это очень скверно, я это знаю. Я никуда не гожусь. Но и ты, мой друг, также не

годишься. Ты не можешь убивать или калечить людей на войне, точно так же, как я не могу зашивать их, как шивают этих бедных лошадей, которым на боях быков распарывают животы, — шивают, чтобы лошади годились для следующей схватки. Мы бесполезные, опасные создания, у которых смешная и преступная претензия жить только для того, чтобы любить тех, кого мы любим: моего возлюбленного, моих друзей, добрых людей и маленьких детей, добрый дневной свет, а также милый белый хлеб и все прекрасное и вкусное. Это позорно! Покрасней за меня, Пьеро!.. Но мы же и будем наказаны! Для нас не будет места на государственной фабрике без отдыха и срока, в которую скоро превратится наша земля... Счастье, что нас там не будет!

— Да, какое счастье! — сказал Пьер. И продолжал:

— О, если б было мне даровано судьбою,
Царя, умереть в объятиях твоих!
Нет выше счастья, как встретить смертный миг
Под поцелуями, склоняясь над тобою.

— Вот так так, дорогой мой!

— Тем не менее это хорошие французские стихи. Это из Ронсара, — возразил Пьер.

— Я ничего не жду, не требую, о нет,
Но пусть — забытый всеми, через сотню лет
На лоне я твоём найду конец, Кассандра.

— Сто лет! — вздохнула Люс. — Шутка сказать!

— Иль обманулся я, иль, правда, умереть
Такою смертью — блаженней, чем владеть
Величьем Цезаря и громом Александра ¹⁾.

— Ах, ты злой, злой, злой! Как тебе не стыдно! В наш век героев!

— Их слишком много, — сказал Пьер. — Я предпочитаю быть маленьким, любящим мальчиком, папенькиным сыном.

— Нет, ты маменькин сынок, у которого еще мое молочко на губах не обсохло, — сказала Люс, крепко обнимая его. — Мой, мой малютка!

¹⁾ Пьер. Б. Садовского.

XV

Те, кто пережил эти дни, люди, которые увидели впоследствии блестящий поворот фортуны, наверно забудут мрачный, угрожающий полет тяжелого крыла, покрывшего в эту неделю Иль де Франс и задевшего своей тенью даже Париж. Радость не считается с минувшими испытаниями. Немецкое наступление достигло кульминационного пункта между понедельником и средою на Святой неделе. Перейдя через Сомму, немцы овладели Бономом, Налем, Гискаром, Руа, Нуайоном, Альбером, забрали тысячу сто пушек, шестьдесят тысяч пленных... Во вторник на святой умер сладкозвучный Дебюсси, символ попираемой ногами, благословенной земли. Сломалась лира... «Бедная маленькая умирающая Греция!» Что останется от нее? Несколько чеканных ваз, несколько прекрасных стел, которые зарастут травой, как дорожка к гробницам. Бессмертные останки разрушенных Афин...

Пьер и Люс, словно с вершины холма, видели надвигавшуюся на город тень. Окутанные еще лучами своей любви, они без страха ожидали конца короткого дня. Теперь ночью их будет двое. Вечерняя молитва к Пресвятой Богородице доносилась к ним преображенная сладострастной меланхолией прекрасных аккордов Дебюсси, которого они оба так любили. Музыка, больше чем когда бы то ни было, отвечала потребности их сердец. Это было единственное искусство, которое было голосом души, освобожденной от завесы форм.

В четверг на святой Люс вместе с Пьером, держа его за руку, шла по пропитанным дождем улицам предместий. По вымокшей равнине проносились порывы ветра. Они не замечали ни дождя, ни ветра, ни безобразия полей, ни грязной дороги. Они уселись на низком заборе парка, часть которого недавно обрушилась. Люс, свесив ноги, с мокрыми руками и в промокшем резиновом пальто, сидела под зонтиком Пьера, еле укрывавшим ее голову и плечи, и смотрела, как капала вода. Когда ветер шевелил ветвями деревьев, капли сыпались, точно картечь: «буль! буль!» Люс молчала, улыбалась, и вся спокойно светилась. Глубокая радость окутывала их.

— Почему так крепко любишь? — спросил Пьер.

— О, Пьер, ты не любишь меня так крепко, если спрашиваешь почему!

— Я тебя спрашиваю затем, — сказал Пьер, — чтобы иметь случай сказать тебе то, что я знаю так же хорошо, как и ты.

— Ты хочешь, чтобы я тебе комплименты говорила, — сказала Люс. — Но вот тут-то ты и попался. Потому что может быть ты и знаешь, почему я тебя люблю, а я этого не знаю.

— Ты этого не знаешь? — спросил опечаленный Пьер.

— Нет, не знаю! (Она смеялась под своим капюшоном). И совсем не надо мне этого знать. Если кто спрашивает, для чего то или другое, значит, человек не убежден в том, что это хорошо. Теперь я люблю, и у меня нет никаких почему! Нет ни «где», ни «когда», ни «потому что», ни «как!» Есть только моя любовь! Остальное, если ему угодно, существует.

Они поцеловались. Дождь воспользовался этим случаем, проскользнул под неловкий зонтик и коснулся своими пальцами их волос и щек; между их губ проскользнула холодная капля, они выжили ее.

Пьер сказал:

— Ну, а другие?

— Какже другие? — спросила Люс.

— Бедные, — ответил Пьер, — «все, кто не мы?»

— Пусть поступают, как мы! Пусть любят!

— И пусть будут любимы! Не все это могут, Люс.

— Могут!

— Ну, нет. Ты сама не знаешь цены того дара, который ты мне даешь.

— Отдать свое сердце любви и губы возлюбленному — значит отдать глаза свои свету: это не значит давать, это значит брать.

— Есть и слепые.

— Мы не вылечим их, Пьеро. Будем смотреть за них!

Пьер молчал.

— О чем ты думаешь? — спросила Люс.

— Я думаю, что как раз сегодня и очень далеко и очень близко от нас терпел муки Тот, Кто пришел в мир, чтобы исцелить слепых.

Люс взяла его за руку:

— Разве ты веришь в Него?

— Нет, Люс, я не верю больше. Но Он навсегда останется другом для тех, кого Он хоть один раз принимал у себя за столом. А ты, знаешь ты Его?

— Еле-еле, — ответила Люс. — Мне никогда не говорили о Нем. Но и не зная Его, я люблю Его... Потому что знаю, что и Он любил.

— Не так, как мы.

— Почему же не так? У нас маленькое, жалкое сердце, которое, вот, может любить только тебя, любовь моя. А Он любил нас всех. Но любовь все равно одинакова.

— Хочешь, пойдем завтра в церковь? — спросил взволнованный Пьер. — Мне сказали, что в Сэн-Жерве будет чудесная музыка...

— Хорошо, я очень рада пойти с тобою в этот день в церковь. Я уверена, Он нас хорошо примет. Если мы будем ближе к Нему, мы будем ближе друг к другу.

Они замолчали... Дождь. Дождь. Дождь. Идет дождь. Наступает вечер.

— Завтра, в это время, — сказала она, — мы будем там.

Насквозь пронизывал туман. Ее пробрала дрожь.

— Ты не озябла, дорогая? — с беспокойством спросил он.

Она поднялась:

— Нет, несколько. Все мне кажется любовью. Я все люблю, и меня все любит. Дождь меня любит, и ветер любит, и серое, холодное небо... и мой милый возлюбленный.

XVI

В пятницу на Святой небо было покрыто длинными, серыми облаками, но воздух был мягок и спокоен. На улицах виднелись цветы: жонкилии и левкои. Пьер купил несколько цветков, и она держала их в руке. Они шли по мирной набережной Ювелиров, вот уже подножье чистой Потр Дам. Их окружало благородной кротостью своею очарование Ситэ, окутанной скромным освещением. На площади Сэн-Жерве из-под их ног взлетели голуби. Они следили за ними глазами, пока птицы летали вокруг фасада; наконец, один голубь уселся на голову статуи. На паперти, когда они собирались войти в церковь, Люс обернулась и увидела среди толпы, в нескольких шагах от себя, рыжую девочку лет двенадцати; девочка, подняв над головой руки, прислонилась к portalу и глядела на Люс. У ней было изящное и немного архаическое лицо маленькой церковной статуи, с нежной и умной, загадочной

улыбкой. Люс тоже ей улыбнулась и указала на нее Пьеру. Но взгляд девочки скользнул по Люс — и девочка вдруг словно испугалась. Она закрыла лицо руками и исчезла.

— Что с ней? — спросила Люс.

Но Пьер ничего не видел.

Они вошли. Над их головами ворковал голубь. Это был последний звук снаружи. Голоса Парижа заглохли. Свежий воздух исчез. Потоки звуков органа, величественные своды, завеса из камней и из звуков отделили их от всего света.

Они уселись в стороне, между вторым и третьим приделами, налево от входа. Они прикались на ступеньках в углу возле колонн, спрятанные от толпы. Повернувшись спиной к хорам, они увидели перед собою, подняв глаза кверху, верхушку алтаря, крест и окна бокового придела. Прекрасные, старинные песнопения изливали в рыданиях свою набожную меланхолию. Молодые язычники держались за руку в траурно убранной церкви, перед лицом своего великого Друга. И оба бормотали вполголоса:

— Перед лицом Твоим, великий Друг, беру я ее, беру я его. Соедини нас! Ты видишь наши сердца.

И пальцы их переплелись, как прутья, из которых плетут корзины. Они вместе составляли

одну плоть, по которой волнами пробежали звуки музыки. Они принялись мечтать, словно лежа в одной постели.

Люс мысленно снова увидела рыжую девочку. И вот ей показалось, будто она уже ночью накануне видела ее во сне. Она так и не узнала, действительно ли эта девочка снилась ей, или только она отнесла сегодняшнее видение к какому-то прежнему сну. Потом мысль ее, утомленная сделанным усилием, расплылась.

Пьер обдумывал дни своей короткой жизни. Жаворонок, поднимающийся с туманной равнины в поисках солнца!.. Как оно далеко! Как оно высоко! Достигнет ли он его когда-нибудь?.. Туман сгустился. Нет более земли, нет более неба. И силы надламываются... Вдруг из-под сводов звучит хор, как журчание ручейка, — торжествующая песня, — и из теней возникает маленькое оцепеневшее тело жаворонка, колышущееся в безбрежном солнечном море...

Пожатие пальцев напомнило им, что они колышались вместе. И они очнулись в полутьме храма, тесно прижавшиеся друг к другу, слушающие великолепное пение; сердца их, проникнутые любовью, касались вершины самой чистой радости, и оба горячо желали и молились, чтобы им никогда не спуститься...

В это мгновение Люс, только что страстным взглядом поцеловавшая своего милого товарища (с полузакрытыми глазами и полураскрытыми губами, он казался погруженным в экстаз, и в порыве радостной благодарности он поднял голову к высшей Силе, которую мы инстинктивно ищем наверху) — Люс с волнением увидела на фоне красного с золотом окна улыбающуюся рыжую девочку с паперти. И онемев от удивления, она опять увидела то же выражение страха и сострадания на этом странном лице.

В эту минуту дрогнула толстая колонна, к которой они прислонились, и вся церковь до самого основания задрожала. И Люс, в которой удары сердца заглушали гул взрыва и крики толпы, не имея времени ни бояться, ни страдать, бросилась, как курица на своих цыплят, чтобы закрыть своим телом Пьера, улыбавшегося с закрытыми глазами от счастья. Она материнским движением изо всех сил прижала эту дорогую голову к своей груди и, склоненная над ним, прижав губы к его затылку, стала маленькой, совсем маленькой.

И разом обрушился на них массивный столб.

Август. 1918 г.

Перев. с французского
Э. Л. Вейнбаум.

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА».

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ: НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ж. РОМЭН	— «Донгоо-Тонка», кинематографический роман.
Г. УЭЛЛС	— «Неугасимый огонь».
Э. СИНКЛЕР	— «Сто процентов».
Г. ГОЛЬСТ	— «Лирические драмы».
К. ГАМСУН	— «Соки земли».
Р. РОЛЛАН	— «Кола Бренбон».
П. БЕНУА	— «Атлантида».
Г. ВЕРФЕЛЬ	— «Человек из зеркала».
В. МАРАН	— «Батуала».
Г. МЕЙРИНК	— «Голем».
К. ЭДШМИД	— «Шесть притоков».
С. ЛАГЕРЛЕВ	— «Гномы и люди».
Г. ГАУПТМАН	— «Зимняя баллада».
С. ВРЖОЗОВСКИЙ	— «Зарево».
«АНТОЛОГИЯ КИТАЙСКИХ ЛИРИКОВ».	

№ 1 издаваемого «ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ» журнала **СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД**

под редакцией Е. Замятина, А. Н. Тихонова и К. И. Чуковского.
Печатается № 2.

№ 1 издаваемого «ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ» журнала **ВОСТОК**

под редакцией акад. С. Ф. Ольденбурга, акад. И. Ю. Крачковского, проф. В. М. Алексеева, проф. Б. Я. Владимирова и А. Н. Тихонова.
Печатается № 2.

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА».

ПЕЧАТАЕТСЯ И ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

К. МЕЙЕР	— «Новеллы».
СИДДИ-КЮР	— «Волшебный мертвец».
КЛЕЙСТ	— «Сочинения» т. I.
П. МЕРИМЭ	— «Театр К. Газуль».
БАЙРОН	— «Дон-Жуан» т. II.
К. ГОЦЦИ	— «Сказки для театра».
М. МАРКС	— «Женщина».
СИНГ	— «Герой».
А. ФРАНС.	— «Жизнь в цвету».
«БЕСЕДЫ АНАТОЛЯ ФРАНСА».	
О. ГЕНРИ.	— «Рассказы».
ДАННУНЦИО.	— «Ноктюрн».
ВОЛЬТЕР.	— «Орлеанская девиственница».
Д. ДЕФО.	— «Робинзон Крузо».

Оптовая продажа

В ТОРГОВОМ СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

- 1) Москва, Ильинка, Биржевая пл., уг. Востовленского пер., № 4.
- 2) Петербург, Проспект 25 Октября, № 28.

Розничная продажа:

В магазинах Госиздата и в др. книжных магазинах.
